

НАСТАСЬЯ ГАЙНСКАЯ

ЛЕДИ



Настасья Глинская

Леди

<https://litres.ru/74658873>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Я всю жизнь стояла с прямой спиной. Даже когда падала».

Девяностые. Обычный двор: лавочка у подъезда, гаражи, соседки у окон. И девочка, которая проходит мимо всего этого так, будто её давно ждут в другом месте. Отец зовёт её дамой. Двор зовёт королевой, за глаза и не всегда по-доброму.

Марина Сомова умеет входить первой, кивать вместо «здравствуйте» и ни о чём не просить. Она точно знает, что её жизнь будет другой, не здешнего уровня. И жизнь действительно даст ей всё, о чём она мечтала. А потом выставит счёт.

Через много лет Марина вернётся во двор, где её никто не узнает. Здесь ей придётся учиться самому трудному: просить прощения, принимать помощь и любить того, кто рядом, а не того, кем можно гордиться.

Но гордость — единственное, что держит её спину ровно. Без неё Марина не умеет стоять.

«Леди» — роман о девочке из девяностых, которую научили держать спину ровно, но не научили жить.

Содержание

Часть первая	5
Глава 1. Лавочка	6
Глава 2. Тюль	14
Глава 3. Оксана	26
Глава 4. Яблоня	37
Глава 5. Раньше всех	47
Глава 6. Выпускной	59
Глава 7. Как взрослые	70
Глава 8. Рынок	84
Конец ознакомительного фрагмента.	94

Настасья Глинская

Леди

Леди

Настасья Глинская

Часть первая

Каблуки

Глава 1. Лавочка

Лавочку у третьего подъезда так и не поменяли. Те же две бетонные тумбы, те же три доски поперёк. Только доски теперь зелёные, а были синие, и в средней не хватает куска, будто кто-то откусил её, как пряник. Марина садится с краю, где целое. Достает сигареты. Руки всё делают сами, раньше головы: пачка, щелчок зажигалки, первый вдох. Руки у неё за последние годы стали умнее её самой.

Двор смотрит на неё и не узнаёт.

Тётя Валя с четвертого этажа выходит с мусорным ведром. Проходит в двух шагах, кивает, как кивают чужим, на всякий случай: вдруг из собеса. Мальчишки у гаражей, которых Марина помнит в колясках, теперь сами катают коляски и курят над ними, отворачивая лицо от ребёнка, как будто так дым не дойдёт. Мужчина в спортивном костюме выгуливает таксу. Он смотрит на её щёку на секунду дольше, чем позволяет вежливость, и отводит глаза. На щеке три тонкие белые полосы, косые, как будто кто-то начал писать и передумал.

В две тысячи пятнадцатом году во дворе на улице Мира живут почти те же люди, что и в девяносто пятом. Они постарели, растолстели, похоронили кого-то, родили кого-то. Но сидят на тех же лавочках и смотрят из тех же окон. Двор вообще не любит перемен. Он любит смотреть.

Я их всех узнаю. Тётю Валию по тому, как она держит ведро, на отлёте, будто оно чужое. Серёжку Маслова по уху, которое у него с детства торчит в сторону. Таксу не узнаю, таксы тогда не было, была овчарка, Найда, и она меня боялась. Собаки всегда понимают, кто здесь главный. А меня не узнаёт никто. Наверное, это правильно. Той, которую они знали, действительно больше нет. Она стояла бы сейчас не на лавочке, а у подъезда. Ждала бы, пока ей откроют дверь.

Узнают её, только если она назовётся. Она проверяла. Вчера в магазине Надежда Павловна, бывшая продавщица из молочного, а теперь кассирша в «Магните», пробила ей хлеб и кефир и сказала: «Пакет нужен?» А когда Марина сказала: «Надежда Павловна, это я, Марина Сомова», у той сначала поднялись брови, потом опустились, а потом лицо сделало что-то странное. Испугалось. Как будто перед ней положили на ленту не кефир, а что-то, чего не может быть.

— Мариночка? — сказала Надежда Павловна. — А мы думали...

Она не договорила, что думали. Марина знает и так. Двор давно её похоронил. Пятнадцать лет назад, когда она уехала, двор провожал её взглядом, полным зависти, как провожают поезд, на который не достали билета. Десять лет назад, когда пошли слухи, двор обсудил их, обсосал и проглотил. Потом слухи кончились. А когда про человека долго нет слухов, двор решает, что человека нет.

Она докуривает и не встаёт. Ей некуда торопиться. Папа спит после обеда, мама ушла в поликлинику за направлением. На третьем этаже, за их окном, светлеет занавеска, новая, бежевая, а когда-то была тюлевая, с золотой ниткой. Такой тюль во всём доме был только у них.

* * *

Сомовы жили чуть выше среднего. Если сказать так сейчас, это ничего не значит. А в девяностые это значило всё.

Владимир Сергеевич Сомов был инженер-строитель, и в девяносто первом, когда все вокруг ещё стояли в очередях за сахаром, он с институтским другом открыл кооператив. Сначала ремонтировали квартиры. Потом возили из Польши плитку и сантехнику. Потом из Германии машины, через Брест, своим ходом, по трое суток. К девяносто третьему у них была «девятка» цвета мокрый асфальт. К девяносто пятому «Ауди», подержанная, но немецкая. Во дворе на неё ходили смотреть, как ходят смотреть на покойника: стояли кружком, молчали и качали головами.

Мама, Людмила Ивановна, вела у отца бухгалтерию. Она была красивая той красотой, которая требует ухода: укладка каждое утро, ногти, каблуки даже за хлебом. Она выходила из подъезда, и двор на лавочках замолкал, а потом, когда за ней хлопала дверь машины, начинал говорить разом.

В квартире у Сомовых был видеомаягнитофон «Панасоник», музыкальный центр с тремя кассетными деками и кухонный гарнитур, собранный не из того, что было, а из того,

что выбрали. На лето они ездили на море. Каждое лето, без пропусков. В девяносто четвёртом году, когда у половины двора отцам не платили зарплату по полгода, а матери продавали на рынке вещи из шкафов, Сомовы ездили на море. Двор этого не простил. Двор вообще ничего не прощал, но этого не простил особенно.

Марина родилась в восемьдесят втором, в марте. Единственная. Мама после родов сказала, что больше никогда, и сдержала слово, как держала все слова, что давала сама себе.

* * *

Самое первое, что Марина помнит про отца, это автобус. Ей лет пять, может, шесть. «Ауди» ещё нет, есть только «Москвич», и он в ремонте. Они едут с отцом на автобусе в центр, в «Детский мир», покупать ей сандалии. Автобус «Икарус», жёлтый, с гармошкой посередине. На их остановке задняя дверь открывается с шипением. Марина подбирается к краю ступеньки, чтобы спрыгнуть, как прыгают все дети, двумя ногами сразу.

Отец выходит первым. Поворачивается к ней и протягивает руку. Не так, как протягивают детям, ладонью вниз, чтобы схватить и сдёрнуть. А ладонью вверх, раскрытой, неподвижной. Как в кино, которое мама смотрела по второй программе, про графов и дуэли.

— Пап, ты чего?

— Дама не прыгает со ступенек, — говорит отец. — Дама выходит.

Она не понимает, что это значит. Но она кладёт свою ладонь на его ладонь и спускается. Одна ступенька, вторая, тротуар. Медленно. Автобус ждёт. Женщина за ними на ступеньках ждёт и смотрит. Водитель в зеркало тоже смотрит. Все смотрят, как маленькая девочка выходит из «Икаруса», будто из кареты.

Это ей понравилось. Не рука. То, что смотрят.

С тех пор так было всегда. Из автобуса, из машины, из трамвая. Отец подавал руку. Он открывал перед ней дверь в подъезд и стоял, придерживая её, тяжёлую, на пружине, пока она не пройдёт. Он вставал, когда она входила в кухню, уже взрослая, в пятнадцать, в семнадцать. Не всегда, но часто. Мама смеялась: «Володь, ну ты её избалуешь». Отец отвечал: «Я её не балую. Я её учу».

Чему, он не объяснял. Марина поняла сама, позже. Он учил её, что она стоит того, чтобы её ждали.

Это был хороший урок. Только он не сказал, что делать, когда ждать перестанут.

* * *

Отец любил её не как ребёнка. Марина много раз думала потом, как сказать точнее, и не находила слова. Он любил её как ценность. Не как вещь, нет. Как то, что надо беречь, ставить на свет, показывать гостям. Он редко целовал её, почти никогда не обнимал. Зато покупал ей платья, о которых другие девочки во дворе не знали, что такие бывают. Зато дарил на день рождения не куклу, а шкатулку с бархатом внутри

и серёжками. Зато, когда она приносила из школы пятёрку, он не говорил «молодец», он говорил «я и не сомневался». Это было лучше, чем «молодец». «Молодец» говорят тем, от кого не ждали.

От неё ждали всего. С самого начала.

Я не помню, чтобы папа хоть раз на меня накричал. Мама кричала, папа нет. Когда я что-то делала не так, он просто смотрел. Удивлённо. Будто видел на мне пятно. И я сама начинала искать это пятно, тереть его, пока не сотру. Я до сих пор не выношу, когда на меня так смотрят. Двор смотрит на меня по-другому. Двор смотрит, как на пятно, которое не стёрли.

Мама любила её иначе. Мама любила её, как любят своё отражение в витрине: проходя мимо, вскользь, проверяя, всё ли на месте. Поправляла ей воротничок. Перевязывала бант, если криво. Говорила: «Не сутулься», «Не сиди так», «Девочка не должна». Мама учила её, как выглядеть. Папа учил, чего она стоит. Между ними Марина росла, как растёт деревце между двумя колышками: ровно, прямо, и очень туго.

* * *

Она не сидела на этой лавочке. Никогда. Ни в восемь лет, ни в двенадцать, ни в семнадцать.

На этой лавочке сидели бабки, а вечером девчонки с семечками, а ещё позже парни с пивом. Марина проходила мимо. Всегда мимо, всегда чуть подняв голову. Двор говорил, что она задирает нос. Она не задирала. Её так научили дер-

жать голову, а держать по-другому она не умела.

Теперь она сидит на ней уже третий день. Курит, смотрит на двор, на гаражи, на берёзу у шестого подъезда, которая выросла до четвёртого этажа. Ей тридцать три. У неё на лице шрамы, в левом бедре штифт, а в голове после той травмы иногда бывает так, будто кто-то выключил звук: двор шевелится, а она не слышит. Потом звук возвращается. Врачи сказали, что так может быть годами. Она привыкла.

Ей говорили в монастыре: возвращаться всегда страшнее, чем уходить. Уходишь от людей, а возвращаешься к себе.

Я думала, будет страшно. Не страшно. Странно. Я сижу на лавочке, на которой не сидела никогда, и мне нормально. Как будто я всю жизнь ходила мимо, а надо было просто сесть.

Дверь подъезда открывается. Выходит мама с пакетом из поликлиники. Она видит Марину на лавочке и останавливается. На лице у неё то же, что было у Надежды Павловны: брови вверх, брови вниз. Только мама её узнала. Маме не нужно называться.

— Ты что тут расселась? — говорит мама. — Как эти.

— Как кто, мам?

Мама не отвечает. Она смотрит на лавочку, на зелёные доски, на откушенную среднюю, на окурочек в Марининых пальцах. Потом садится рядом. Медленно, неловко, придерживая пакет на коленях. Людмила Ивановна Сомова, которая за всю жизнь ни разу не садилась на эту лавочку, садится

на неё рядом с дочерью.

Тётя Валя на четвёртом этаже отодвигает штору. Двор смотрит.

— Направление дали, — говорит мама. — На обследование. В четверг.

— Хорошо.

— Отец не хочет. Говорит, само пройдёт.

— Я с ним поговорю.

Мама кивает. Потом протягивает руку, медленно, и берёт у Марины сигарету. Затачивается. Кашляет. Отдаёт обратно.

— Двадцать лет не курила, — говорит она. — Гадость.

Они сидят молча. Солнце уходит за пятиэтажку напротив, и лавочка оказывается в тени. Становится прохладно.

Наверху, на третьем этаже, в окне появляется отец. В халате, похудевший, с серой щетиной. Он смотрит вниз, на них, на двух женщин на лавочке. Марина поднимает руку. Он поднимает в ответ. Потом медленно, как будто ему тяжело, чуть наклоняет голову. Совсем немного.

Так кивают дамам.

Глава 2. Тюль

В шкафу, на нижней полке, под стопкой пододеяльников, лежит свёрток. Мама просит достать оттуда наволочку, и Марина, присев на корточки, вытягивает вместе с наволочкой что-то лёгкое, длинное, шуршащее. Оно разворачивается у неё в руках, как будто живое, и падает на пол волнами.

Тюль. Тот самый. Белый, прозрачный, с золотой ниткой, которая идёт по нему ромбами, мелкими, как чешуя. Нитка потускнела, местами вытерлась, а в одном месте, у края, тюль прожжён: маленькая коричневая дырочка с обугленными краями. Марина помнит эту дырочку. Это отец, в девяносто восьмом, курил у окна и задел сигаретой.

— Ты что его не выбросила? — спрашивает она маму.

Мама стоит в дверях с наволочкой в руках и смотрит на тюль на полу. Лицо у неё делается странное, как будто она смотрит не на тюль, а в окно, за которым что-то давно прошедшее.

— Как его выбросишь, — говорит мама. — Это же мы.

* * *

Тюль повесили в восемьдесят девятом году. Марине было семь.

До тюля на окнах висели шторы, зелёные, в полоску, такие же, как у всех в подъезде: в восемьдесят пятом их выбросили в универмаге, и весь дом стоял в очереди. А потом отец

съездил в Ленинград, на какую-то конференцию строителей, и привёз оттуда свёрток. Развернул его в комнате на диване. Мама ахнула.

Тюль был из Финляндии. Отец купил его у фарцовщика у Гостиного двора, за свои командировочные, за все. Две недели они ели макароны, но тюль висел. И когда вечером включали свет, золотая нитка загоралась в окне, и с улицы это было видно. Тётя Валя на лавочке говорила: «У Сомовых опять горит». Как будто у них в окне был пожар.

Марина любила стоять за тюлем. Это было её место. Если встать вплотную к окну, между стеклом и тканью, получалась как будто отдельная комната, светлая, прозрачная, где тебя не видно, а ты видишь всё. Двор, гаражи, лавочку, берёзу у шестого подъезда, которая тогда была ещё тонкая, по второй этаж. Марина стояла за тюлем часами. Смотрела, как во дворе играют девочки в резиночку, как мальчишки гоняют мяч, как бабки сидят на лавочке и смотрят на её окно.

Она не выходила к ним. Мама говорила: не надо, там шпана. Мама говорила это про всех детей во дворе, кроме тех, у кого родители были инженеры. Таких было двое, и оба мальчишки.

Марина не обижалась. Ей нравилось за тюлем. Ей нравилось, что её не видно, а она видит. Она тогда ещё не знала, что это называется власть. Она думала, это называется дом.

* * *

Мама в те годы была молодая. Это Марина поняла уже

потом, глядя на фотографии: маме было двадцать семь, двадцать восемь, тридцать. Тогда ей казалось, что мама взрослая и вечная, как берёза.

Мама работала в проектном институте, чертёжницей, а по вечерам перешивала себе платья из журнала «Бурда моден», который привозили из Германии через знакомую. Журнал был один на весь институт, его передавали из рук в руки, как запрещённую книгу. Мама снимала выкройки на кальку, ночью, на кухонном столе, при свете настольной лампы. Марина сидела рядом и смотрела, как мама ведёт карандашом по тонкой, шуршащей кальке, как получается из линий рукав, воротник, юбка.

— Мам, а мне?

— Тебе рано.

— А когда?

— Когда вырастешь. Тогда я тебе такое сошью, что все упадут.

Мама так и не сшила. Когда Марина выросла, платья уже можно было купить, и мама покупала. Итальянские, дорогие, в бутике у вокзала. Но Марина помнила: калька, лампа, мамин карандаш, «все упадут». Она потом долго думала, что вся её жизнь была для того, чтобы все упали. Мама обещала.

Мама причёсывала её по утрам перед садиком. Долго, туго, заплетая две косы так, что болела кожа на голове. Марина терпела. Мама говорила: «Красота требует жертв». Марина не знала, что такое жертва, но понимала, что это что-то, что

надо терпеть молча. Если она плакала, мама переплетала косу заново. Марина быстро научилась не плакать.

Другие девочки в садике ходили с хвостиками, перетянутыми аптечной резинкой. У Марины были косы с бантами, белыми, капроновыми, огромными, как пропеллеры. Воспитательница говорила маме: «Какая у вас девочка аккуратная». Мама кивала. Она тогда уже умела кивать.

* * *

Первый раз на море поехали в девяностом. Марине было восемь.

Отец тогда ещё работал в тресте, кооператива ещё не было, но деньги уже как-то появлялись: он брал шабашки, делал ремонты по выходным, ездил куда-то на «Москвиче» и возвращался с конвертом. Мама не спрашивала. Мама говорила соседкам: «Володя премию получил».

На море ехали поездом. Двое суток, плацкарт, верхние полки. Марина лежала на верхней полке и смотрела в окно, как меняется земля. Сначала берёзы, потом поля, потом степь, ровная, жёлтая, без конца. Потом горы. Потом, утром второго дня, за поворотом, между двумя скалами, вдруг блеснуло. Синее. Такое синее, какого не бывает.

— Пап, это что?

Отец свесился со своей полки, посмотрел.

— Это море, Марин.

Она смотрела на него, пока поезд не завернул и море не исчезло. Потом спустилась вниз, к маме, и спросила шёпо-

том, как спрашивают о чём-то неприличном:

— А оно всегда такое?

— Какое?

Марина не знала, как сказать. Как будто его кто-то нарочно сделал красивым. Для неё.

Они жили в Лазаревском, у хозяйки в сарае, переделанном под комнату. Душ во дворе, туалет во дворе, хозяйкины куры во дворе. Мама морщилась. Отец смеялся. Марина не замечала ни кур, ни душа. Она замечала только море.

Она не умела плавать. Отец учил её. Держал под живот обеими руками в тёплой, мутной от песка воде у берега и говорил: «Греби. Руками греби. Ногами бей». Она гребла и била. Отец держал. Потом убрал одну руку. Потом другую. Она не заметила. Она плыла. Сама. Секунду, две, три. Потом поняла, что плывёт сама, испугалась, захлебнулась, пошла под воду.

Отец выдернул её за руку, сразу, как будто ждал. Она стояла по пояс в воде, кашляла, плакала, а он держал её за руку и смеялся.

— Ты плыла, Марин! Сама плыла!

— Я утонула!

— Не утонула. Я же рядом.

Она потом весь отпуск плавала только тогда, когда он стоял рядом. В двух шагах. Чтобы, если что, выдернуть.

Я до сих пор так плаваю. То есть плавала. Я давно не была на море. Но я помню: я никогда не заплывала туда,

где не доставала дна. Даже в Геленджике, когда мне было девятнадцать. Витя смеялся, звал на глубину, а я плавала у берега, вдоль, держа голову над водой. Я говорила: чтобы лицо не испортить. На самом деле мне нужно было, чтобы кто-то стоял в двух шагах. Чтобы выдернуть. Папа всю жизнь стоял. А потом однажды не стоял, и я заплыла. На девятый этаж.

** * **

В девяносто первом отец ушёл из треста и открыл кооператив с Мишей Гуревичем, институтским другом. Кооператив назывался «Зодчий». Ремонт квартир под ключ. Отец уходил в семь утра и приходил в одиннадцать вечера, весь в побелке, с цементом под ногтями, усталый и весёлый. Ужинал стоя. Целовал маму в макушку, на ходу. Заглядывал к Марине в комнату и говорил: «Спишь? Спи».

Деньги в доме стали появляться так, как раньше появлялись только продукты по талонам: вдруг, помногу, и никто не знал, надолго ли. Мама купила себе шубу. Потом холодильник «Бош». Потом видеомаягнитофон. Потом стенку, румынскую, с подсветкой. Каждую вещь двор видел: её заносили грузчики через подъезд, на глазах у всех.

Двор менялся. Это Марина замечала из-за тюля. В девяностом году бабки на лавочке говорили с мамой ласково, называли «Людочка», спрашивали, как дочка. В девяносто втором стали говорить «Людмила Ивановна» и замолкали, когда мама проходила. А за спиной говорили другое. Марина

слышала однажды, проходя мимо с мамой: «Наворовали». Сказала тётя Валя, громко, нарочно. Мама не обернулась. Только взяла Марину за руку крепче, так, что стало больно.

Дома мама сказала: «Не обращай внимания. Они завидуют».

— Чему?

Мама подумала.

— Тому, что мы живём, а они нет.

Марина тогда не поняла. Ей казалось, что все живут. Потом она увидела, как живут Сазоновы на втором этаже: отец пьёт, мать в больнице, двое детей в одной куртке на двоих, по очереди. Как живут Маслины: шестеро в двухкомнатной, бабка на раскладушке на кухне. Как живут Гречко из дома напротив школы. Она увидела и поняла, что мама права. Они живут. Остальные нет.

Это было хорошее чувство. Она носила его в себе, как носила косы с белыми бантами.

* * *

В ноябре девяносто третьего к ним пришли.

Марине было одиннадцать. Был вечер, воскресенье, отец был дома. Мама жарила котлеты. По телевизору шёл «Поле чудес». В дверь позвонили. Два раза, коротко.

Отец пошёл открывать. Марина вышла в коридор следом, из любопытства. Она стояла в дверях своей комнаты и видела всё.

На площадке стояли двое. Молодые, крепкие, в кожаных

куртках, коротко стриженные, с одинаковыми лицами, как будто их сделали на одном заводе. Один жевал жвачку. Другой держал руки в карманах.

— Владимир Сергеевич? — сказал тот, что со жвачкой. Вежливо. Почти ласково. — Поговорить надо. Насчёт «Зодчего».

Отец стоял в дверях. В домашней рубашке, в тапках. Он не сделал шагу назад. Он не пустил их в квартиру. Он стоял, держась одной рукой за косяк, и смотрел на них.

— Говорите, — сказал он.

Они говорили недолго. Марина не всё поняла. Поняла слова «крыша», «процент», «спокойно работать», «а то мало ли». Тот, что со жвачкой, говорил, а второй смотрел через отцовское плечо в квартиру. На вешалку, на зеркало, на румынскую стенку в комнате. На Марину в дверях.

Он посмотрел на Марину и улыбнулся.

Отец увидел, куда он смотрит. И вдруг сделал то, чего Марина не ожидала. Он шагнул вперёд, через порог, на площадку. И закрыл за собой дверь. Тихо, плотно.

Марина осталась в коридоре одна. Она слышала голоса за дверью. Отцовский, ровный. Чужие, сначала ровные, потом громче. Потом тише. Потом шаги вниз по лестнице. Потом хлопнула дверь подъезда.

Отец вошёл. Закрыл дверь на оба замка. Постоял. Повернулся. Лицо у него было обычное. Только на скуле, у глаза, краснело пятно, быстро темнея.

Мама стояла в дверях кухни с лопаткой в руке. Котлеты на сковородке горели. Никто их не снимал.

— Всё нормально, — сказал отец. — Договорились.

Он прошёл в ванную. Марина слышала, как льётся вода. Мама сняла сковородку с огня. Котлеты были чёрные. Их выбросили.

Потом, много лет спустя, Марина узнала от Миши Гуревича, на похоронах Николая Степановича, что отец тогда на площадке сказал этим двоим. Он сказал: «В квартиру ко мне не ходите. Здесь дочь. Хотите говорить, приходите на склад». И когда тот, что с руками в карманах, засмеялся и сказал что-то про дочку, отец ударил его. Один раз. А тот ударил в ответ. А потом они ушли. А потом отец платил им пять лет, каждый месяц, приходя на склад сам. Но к ним домой больше никто не пришёл.

В ту ночь Марина не спала. Она встала, когда родители уснули, и пошла к окну в большой комнате. Встала за тюль, в свою прозрачную комнату. Во дворе было темно. Фонарь у подъезда горел через раз. У гаражей стояла машина, чёрная, с выключенными фарами. В ней кто-то курил: огонёк загорался и гас.

Марина смотрела на огонёк и не боялась. Она думала: папа закрыл дверь. Папа вышел на площадку и закрыл за собой дверь, чтобы они не смотрели на меня. Значит, они не войдут. Никогда. Пока папа стоит в дверях, никто не войдёт.

Это было самое сильное чувство в её детстве. Сильнее мо-

ря.

Я долго думала, что папа может закрыть любую дверь. Что, пока он есть, со мной ничего не случится. Я так в это верила, что не заметила, как сама ушла из-под его двери. В Москву, на Фрунзенскую, туда, где закрывать было уже некому. Я думала, его дверь переедет со мной. Как переехало зеркало. А дверь осталась здесь, на третьем этаже, обитая дерматином. Он и сейчас её закрывает на оба замка. Каждый вечер. Я слышу.

* * *

Весной девяносто четвёртого отец купил «Ауди».

Серебристую, восьмидесятую, восемьдесят шестого года, привезённую им самим из Германии через Брест. Он гнал её трое суток, без сна. Пригнал во двор в субботу утром, в десять, когда все были дома. Поставил у подъезда. Вышел. Посигналил.

Мама вышла на балкон в халате. Марина выбежала вниз в тапках.

Двор вышел смотреть. Весь. Бабки с лавочки, Масловы, Сазонов с первого, мальчишки, тётя Валя в бигудях. Стояли кружком вокруг машины, молча, как стоят вокруг покойника. Кто-то трогал фару. Кто-то заглядывал в салон. Сазонов, уже с утра выпивший, обошёл машину три раза и сказал: «Немка». И сплюнул.

Отец стоял у двери машины и смотрел на Марину.

— Садись, — сказал он. — Прокачу.

Он открыл перед ней дверь. Пассажирскую, переднюю. Подал руку.

Марина положила свою ладонь на его и села в машину. Медленно, как садятся в карету. Двор смотрел. Двенадцать лет, тапки, домашнее платье, косы. Она села так, будто всю жизнь садилась в «Ауди».

Отец обошёл машину, сел за руль. Завёл. Мотор заурчал низко, глубоко, по-немецки. Они медленно поехали мимо двора. Мимо лавочки, мимо гаражей, мимо берёзы. Марина смотрела в окно. Двор смотрел на неё. Она смотрела на двор.

И впервые подняла подбородок. Чуть-чуть. На сантиметр. Она не знала, что делает. Это вышло само. Как будто тело знало, как сидят в «Ауди», раньше головы.

* * *

Марина складывает тюль. Медленно, по длине, вдвое, вчетверо. Золотая нитка шуршит в пальцах. Дырочка от сигареты оказывается сверху, в середине сложенного прямоугольника, как печать.

Мама всё ещё стоит в дверях.

— Повесить, может? — говорит мама неуверенно. — На кухню. Там занавеска старая.

Марина смотрит на свёрток у себя в руках. Потом на окно кухни через коридор, где висит бежевая занавеска из «Фикс Прайса».

— Не надо, мам, — говорит она. — Пусть лежит.

Она кладёт тюль обратно на нижнюю полку, под пододе-

яльники. Аккуратно. Как кладут в ящик фотографии людей, которых больше нет.

Глава 3. Оксана

Напротив школы стоит пятиэтажка, такая же, как их, только кирпичная, красная, с белыми швами. Марина проходит мимо неё по дороге на рынок. На втором этаже, третье окно от угла, на балконе сушится бельё: детские колготки, простыня, мужская рубашка в клетку. Когда-то там жили Гречко.

У подъезда на лавочке сидит девочка лет десяти. Худая, светлая, с длинной косой, перекинутой через плечо. Она решает что-то в тетради, положив её на колено, и грызёт кончик косы. Сосредоточенно, яростно, как будто коса виновата в задаче.

Марина останавливается.

Девочка поднимает голову. Смотрит на неё. На шрамы. Пугается немножко, как пугаются дети чужих взрослых, и отодвигается на край лавочки.

— Не грызи косу, — говорит Марина. — Испортишь.

Девочка смотрит на неё удивлённо. Выпускает косу из рта. Кончик мокрый, слипшийся.

— А вам какое дело? — говорит она.

Марина улыбается.

— Никакого, — говорит она. — Ты права. Никакого.

И идёт дальше. Девочка смотрит ей вслед. Потом, Марина слышит, снова берёт косу в рот.

* * *

С Оксаной Гречко они подружились весной девяносто четвёртого, из-за контрольной по математике.

До этого они сидели за одной партой полгода и почти не разговаривали. Оксану посадила к Марине классная, в сентябре: Оксана была новенькая, перевелась из другой школы, когда семья переехала в бабушкину квартиру, в пятиэтажку напротив школы. Марина не возражала. Ей было всё равно, кто сидит рядом, лишь бы не толкался локтем и не списывал.

Оксана не толкалась и не списывала. Она вообще почти не двигалась на уроках: сидела прямо, смотрела в доску и грызла косу. Коса у неё была толстая, светлая, до пояса, и кончик всегда мокрый. Учительница говорила: «Гречко, опять?» Оксана выпускала косу и через минуту брала снова.

А в апреле была контрольная, и Марина не могла решить задачу про поезда. Два поезда вышли навстречу друг другу. Она сидела над ней двадцать минут и не понимала, где они встретятся. Это было новое и неприятное чувство: Марина всегда понимала всё быстро. И тут Оксана, не поворачивая головы, придвинула к ней свою тетрадь. Чуть-чуть, на край парты. На тетради было написано решение. Аккуратным круглым почерком.

Марина посмотрела на тетрадь. Потом на Оксану. Оксана смотрела в доску и грызла косу.

Марина не стала списывать. Она прочитала решение, поняла, где поезда встретились, и решила сама, по-своему. А

на перемене подошла к Оксане у окна и сказала:

— Зачем?

— Что зачем?

— Тетрадь.

Оксана пожала плечами.

— Ты так сидела, — сказала она. — Как будто у тебя зуб болит.

Марина засмеялась. Неожиданно, сама. Оксана тоже засмеялась, и коса выпала у неё из рта.

Так они стали ходить вместе.

* * *

Оксана была первая подруга, к которой Марина пришла домой.

До этого она не ходила ни к кому. Мама не любила, когда она ходит в чужие квартиры: «Мало ли что там». А к себе Марина никого не звала: не хотела. Девочки бы смотрели на видеоманитофон, на стенку, на Барби в коробках. Смотрели бы и завидовали, а завтра в школе рассказывали бы всем. Марина не хотела, чтобы на её дом смотрели. Она хотела смотреть сама.

К Оксане она пошла в мае, после уроков, потому что Оксана позвала, а дома всё равно никого не было.

Квартира Гречко была на втором этаже, двухкомнатная, с низкими потолками и линолеумом, протёртым до бетона у порога. Пахло борщом, табаком и чем-то кислым, застоявшимся. На кухне сидел Оксанин отец, Пётр Иванович, в

майке, и смотрел в окно. Перед ним стояла пустая тарелка и пепельница, полная окурков. Он не обернулся, когда они вошли.

— Пап, это Марина, — сказала Оксана.

Пётр Иванович не ответил.

Они прошли в Оксанину комнату. Комната была одна на троих детей: Оксану и двух старших братьев, только братья давно не жили. Старший, Серёжа, служил на флоте, на Севере, и писал домой раз в полгода. Средний, Толик, жил отдельно. Поэтому комната была Оксанина. Кровать, шкаф, стол у окна, на стене плакат с «Ласковым маем», выгоревший, с оторванным углом.

Они сидели на кровати и делали уроки, и тут из кухни раздался крик. Женский. Оксанина мать пришла с работы.

Марина вздрогнула. Оксана не вздрогнула. Она продолжала писать в тетради, только кончик косы снова оказался во рту.

Кричали долго. Мать кричала, что денег нет, что с завода опять не заплатили, что сидит тут, как пень, что дети голые, что она одна тянет, что лучше бы он сдох. Отец молчал. Потом что-то упало, грохнуло. Потом хлопнула дверь, входная. Потом стало тихо. Только мать плакала на кухне, тихо, всхлипывая.

Оксана дописала строчку. Подняла голову. Посмотрела на Марину.

— Это они так всегда, — сказала она. — Ты не бойся.

— Я не боюсь.

Марина правда не боялась. Ей было интересно. Она никогда не слышала, чтобы у них дома кричали. Мама не кричала на отца. Отец не молчал, как пень. У них дома было тихо, как за тюлем.

Она потом шла домой и думала: вот как живут, когда не живут. Мама была права.

Мне было стыдно потом, много лет. Не тогда, тогда не было. Тогда мне было интересно, как в кино. Я сидела у Оксаны на кровати и слушала, как у них ломается жизнь, и мне было интересно. Как в зоопарке. Я была за стеклом, а они в клетке. Я тогда не знала, что стекло можно разбить. Что клетка бывает у всех. Просто у некоторых её не видно за тюлем.

* * *

Толика Марина увидела в июне.

Они с Оксаной сидели на лавочке у Оксаниного подъезда, ели мороженое, «Лакомку», на двоих: Марина купила. И вдруг во двор с рёвом въехал мотоцикл. Красный, блестящий, с хромированными трубами, «Ява». На мотоцикле сидел парень в кожаной куртке, без шлема, с длинными светлыми волосами, как у Оксаны, только до плеч.

Оксана вскочила, уронила мороженое и побежала к нему.
— Толька!

Парень заглушил мотор, слез, поймал Оксану на лету и подбросил вверх. Она завизжала. Он поставил её на землю,

взъерошил ей волосы, и коса растрепалась.

Потом посмотрел на Марину. Марина сидела на лавочке с мороженым и смотрела на них.

— А это кто? — спросил он.

— Марина. Моя подруга. Сомова.

— Сомова? — Он прищурился. — С Мира? Это у которых «Ауди»?

Марина кивнула.

Толик подошёл к лавочке. Протянул ей руку. Как взрослой. Как отец протягивал руку мужчинам.

— Анатолий, — сказал он серьёзно. А потом подмигнул.

Марина пожала его руку. Рука была большая, шершавая, в машинном масле, и тёплая.

Толику было двадцать шесть. Он работал на шинном заводе, в цеху вулканизации. У него была жена, Света, и сын, Димка, которому было два. Они жили в частном секторе, за железной дорогой, в доме, который Толику оставил дед. С яблонями.

Он был весёлый. Это Марина запомнила лучше всего. Он всё время смеялся, шутил, подмигивал. Он катал их на «Яве»: сначала Оксану, потом Марину, по очереди, по кругу вокруг квартала. Марина сидела сзади, держась за его куртку, и ветер бил ей в лицо, и косы с бантами разлетались. Она визжала, как Оксана. Она никогда раньше не визжала.

Дома мама увидела бы, умерла бы. Мама не увидела.

* * *

Всё лето они ездили к Толику. Каждую неделю, иногда чаще. Пешком через переезд, через частный сектор, мимо заборов с собаками. Толик встречал их у калитки. Света, его жена, худая, бледная, с ребёнком на руках, кивала им с крыльца и уходила в дом.

Толик показывал им сад. Три яблони, старые, корявые, посаженные ещё дедом. Говорил: «Вот эта антоновка. Эта белый налив. А эта, большая, не знаю, что за сорт, дед говорил: „Бабушкина“. Самая вкусная». Он лазил на яблоню, на нижнюю толстую ветку, и сидел там, свесив ноги, и рассказывал анекдоты. Яблоки были ещё зелёные. Он обещал: «В августе приходите. Яблок будет прорва».

Он играл им на гитаре. Сидел на крыльце, перебирал струны и пел «Кино», хриплым голосом, не попадая в ноты. «Группа крови на рукаве». Оксана подпевала. Марина не знала слов. Она слушала и смотрела на его руки на грифе. Пальцы были большие, но двигались быстро и точно, как у отца, когда тот чертил.

В середине июля Света ушла.

Оксана сказала об этом Марине на лавочке, буднично, грызя косу: «Светка от Тольки ушла. С Димкой. К матери в Курск». Марина спросила почему. Оксана пожала плечами. «Мать говорит, пил. И денег нет. Завод встал».

Завод встал. Шинный, где Толик вулканизировал покрышки. Встал в июне, всех отправили в бессрочный отпуск без содержания. Толик два месяца искал работу. Не нашёл.

Продал «Яву». Марина узнала об этом в августе, когда они в очередной раз пришли к калитке и мотоцикла во дворе не было.

— А где «Ява»? — спросила Оксана.

— Продал, — сказал Толик. И засмеялся. — Ну её. Всё равно бензин дорогой.

Он смеялся. Но Марина вдруг увидела, что он смеётся не так. Не так, как в июне. Тогда он смеялся всем лицом. Сейчас смеялся только рот. Глаза были отдельно. Как будто глаза смотрели куда-то, где смеяться нечему.

Это был первый раз, когда она так увидела. Глаза отдельно от рта. Потом она будет видеть это часто. У Виктора на лестнице. У Андрея на кухне. У Лёхи в сентябре шестнадцатого. Но в первый раз она увидела это у Толика, у калитки, в августе девяносто четвёртого.

Она ничего не сказала. Ей было двенадцать. Она не знала, что про это можно сказать.

* * *

В последний раз они видели его в конце августа. В воскресенье. Жарко, как в июле.

Толик сидел на крыльце. Без гитары. В майке, в трениках, небритый. Рядом с ним стояли бутылки: пивные, три пустых, одна начатая. Он увидел их у калитки и помахал рукой. Не встал.

— А, девки, — сказал он. — Заходите. Ключ знаете где.

Оксана достала ключ из щели у столба. Открыла. Они во-

шли.

Во дворе было неубрано. Трава по колено. На верёвке висела рубашка, клетчатая, выгоревшая. Сапоги на крыльце, один упал набок. Велосипед без переднего колеса у стены. Марина это всё заметила и запомнила, сама не зная зачем. Потом, через три недели, она увидит всё это снова, точно так же, ничего не изменилось, только хозяина не будет на крыльце.

Толик сходил в сад и принёс яблок. Полную футболку, сняв её с себя и завязав узлом. Высыпал на крыльцо. Жёлтые, красные, полосатые. С бабушкиной яблони, той, большой.

— Ешьте, — сказал он. — Прорва в этом году. Девать некуда. Я ж обещал.

Они ели. Яблоки были сладкие, хрусткие, с кислинкой. Сок тёк по подбородку. Толик сидел и смотрел, как они едят. Пил пиво. Молчал.

Потом сказал, глядя на Оксану:

— Ксюх. Ключ будет на месте. Всегда. Если дома орут, приходи. Поняла?

— Поняла.

— Хоть днём, хоть ночью.

— Поняла, Толь.

Он кивнул. Потом посмотрел на Марину. Долго. Глаза отдельно от рта.

— Вы, девки, — сказал он, — только не торопитесь. Вырастать не торопитесь. Там нечего делать.

Марина не поняла. Она как раз очень торопилась. Она хотела вырасти быстрее всех. Она ничего не ответила.

Когда они уходили, он стоял у калитки. Махал рукой. Они обернулись у поворота. Он всё ещё стоял. В майке, босиком, на фоне облезлого дома и трёх яблонь. Махал.

Оксана сказала: «Он хороший. Просто ему сейчас плохо». Марина сказала: «Пройдёт». Она правда так думала. Ей казалось, у взрослых всё проходит. Отец ведь закрыл дверь, и всё прошло.

Я не заметила. Никто не заметил. Оксана не заметила, потому что любила его и думала, что он всегда будет смеяться. Мать не заметила, потому что кричала на отца. Отец не заметил, потому что смотрел в окно. Соседи не заметили, потому что у всех тогда было плохо. Я не заметила, потому что мне было двенадцать и я ела яблоки. А он сидел на крыльце и прощался. Он всё сказал. Ключ будет на месте. Не торопитесь вырастать. Он сказал всё, что хотел, а мы ели яблоки и думали: пройдёт.

* * *

Марина возвращается с рынка через час. С пакетом картошки, с хлебом, с банкой сметаны. Проходит мимо красной пятиэтажки напротив школы.

Девочка с косой всё ещё на лавочке. Тетрадь закрыта. Девочка просто сидит, болтая ногами, и смотрит на дорогу. Ждёт кого-то.

Коса у неё во рту.

Марина замедляет шаг. Хочет снова сказать: не грызи. Не говорит. Это не её дело. Девочка права.

Из подъезда выходит мужчина. Молодой, лет двадцати пяти, светловолосый, в спортивной куртке. Подходит к девочке, ерошит ей волосы. Девочка вскакивает, роняет тетрадь, обнимает его.

— Братик!

Марина стоит на тротуаре с пакетом картошки и смотрит. Мужчина поднимает тетрадь, отряхивает. Берёт девочку за руку. Они уходят к остановке.

Марина смотрит им вслед. Чужая девочка, чужой брат. Мужчина смеётся. Всем лицом. Глаза вместе со ртом.

Она стоит, пока они не скрываются за углом. Потом идёт домой. Пакет оттягивает руку. Картошка тяжёлая.

Глава 4. Яблоня

Мама привозит с дачи яблоки. Два ведра, антоновка, крупная, жёлтая, с коричневыми точками, как веснушки. Ставит вёдра в коридоре, и вся квартира сразу начинает пахнуть сентябрём, хотя на календаре конец августа.

— Порезь отцу, — говорит мама. — Он сам не почистит, а так съест.

Марина садится на кухне с ножом и тарелкой. Берёт яблоко, поворачивает его в ладони. Нож входит под кожуру легко. Она ведёт его по кругу, медленно, не отрывая, и кожура спускается вниз длинной жёлтой спиралью. Так чистила мама, когда Марина была маленькая. Мама говорила: если снимешь одной лентой, загадывай желание. Марина снимала одной лентой каждый раз. Желания сбывались не все.

Запах поднимается от ножа, от рук, от тарелки. Кисловатый, свежий, с чем-то ещё, сладким и чуть гнилым, как бывает у яблок, полежавших в траве.

Марина откладывает нож. Сидит, положив руки на стол, и ждёт, когда пройдёт. Это бывает с ней не часто. Раз в год, раз в два. От запаха, от звука, иногда от цвета. От яблок почти всегда.

* * *

В сентябре девяносто четвёртого года было тепло, как в июле. Бабье лето пришло рано и не уходило, и школьники

сидели на уроках с открытыми окнами, а на последнем ряду кто-нибудь всегда спал, положив голову на руки.

Марине было двенадцать. Она пошла в шестой «А», и Оксана по-прежнему сидела с ней за одной партой. После лета они уже не договаривались идти вместе, а просто шли. Про Толика в классе никто не знал. Это было их, на двоих.

Частный сектор за железной дорогой в городе называли Шанхаем. Никто не знал почему. Маме Марина так и не сказала, куда ходила всё лето. Мама бывала в Шанхае только на рынке у переезда и шла там быстро, держа сумку обеими руками, не глядя по сторонам.

В тот день они с Оксаной шли из школы длинной дорогой. Не хотелось домой. Оксане потому, что дома мать опять будет кричать на отца, отцу не платили на заводе с весны. Марине потому, что дома никого не было: папа в Бресте, мама в офисе до семи. Пустая квартира с тюлем и видеомагнитофоном была хуже, чем мать, которая кричит.

Они дошли до переезда, постояли, пропустили товарняк. Цистерны шли долго, одна за другой, чёрные, маслянистые, пахнущие нефтью и солнцем. Оксана считала их вслух, сбилась на сорок третьей. Потом они перешли пути, и Оксана вдруг остановилась, поджав ноги, и сказала:

— Ой, мне в туалет надо. Прямо сейчас.

— Терпи, — сказала Марина.

— Не могу. Слушай, давай к Тольке забежим. Он, может, в городе, работу ищет. Но ключ же на месте, он сам сказал.

Давай?

С того воскресенья, с яблоками, они у Толика не были. Три недели. Начались уроки, Оксанина мать после школы держала её дома. Марина кивнула. Ей и самой хотелось.

* * *

Дом Толика стоял в конце улицы, последним перед пустырьём. Деревянный, обшитый вагонкой, когда-то зелёной, а теперь облезлой, цвета лишайника. Забор из штакетника, калитка на висячем замке. Оксана сунула руку в щель между столбом и забором, пошарила там, вытащила ключ на верёвочке.

— На месте, — сказала она. Как будто это что-то значило. Как будто раз ключ на месте, то и всё остальное на месте.

Замок открылся с трудом, заржавел. Калитка закрипела. Во дворе было тихо и жарко. Пахло нагретыми досками, крапивой и чем-то ещё, сладким. Яблоками.

Оксана побежала за дом, туда, где стояла деревянная будка уборной. Марина осталась одна.

Без хозяина двор был другой. Марина была здесь раз десять за лето, но всегда с Толиком: он встречал у калитки, шёл впереди, рассказывал. Одна она здесь не стояла никогда, и ей стало немножко страшно, как бывает, когда заходишь в чужую комнату без хозяев. На крыльце стояли те же резиновые сапоги, один так и лежал на боку. У стены тот же велосипед без переднего колеса. На верёвке та же клетчатая рубашка, выгоровшая, давно забытая. Ничего не изменилось с

того воскресенья. Только крыльцо было пустое.

Марина пошла по двору. Медленно. Обошла дом с другой стороны, к саду. Сад зарос ещё сильнее, чем в августе. Три яблони, старые, корявые, с ветками до земли, и под ними трава по колено, вся в падалище. Яблок в этом году была прорва, как Толик и обещал, и никто их не собирал. Они лежали в траве, жёлтые, красные, многие уже потемнели, и над ними кружили осы.

Бабушкина яблоня, самая большая, стояла у забора. У неё была отломана ветка. Та самая, нижняя, толстая, на которой Толик сидел летом, свесив ноги, и рассказывал анекдоты. Она не упала до конца, а повисла, держась на полосе коры, и лежала одним концом в траве, а другим всё ещё тянулась к стволу. Место слома было светлое, свежее, как рана.

Под веткой, в траве, что-то лежало.

Марина не поняла что. Она стала подходить медленно, щурясь от солнца, которое било сквозь листья. Что-то длинное, тёмное. Сначала она подумала, что это мешок. Потом подумала, что это старое пальто, которое кто-то выбросил. Потом увидела ботинки. Два ботинка, коричневые, на шнурках, носками в разные стороны, как стрелки на часах, которые показывают без двадцати четыре.

Она остановилась в трёх шагах. Она всё ещё не понимала. Вернее, понимала, но та часть головы, которая понимала, никак не могла договориться с той, которая говорит, что делать. Марина стояла и смотрела на ботинки. Осы гудели

над яблоками. Где-то за пустырём прогудел товарняк, длинно, на два голоса.

Сзади слышались шаги. Оксана шла от уборной, шлёпала сандалиями по тропинке и что-то говорила, весело, про то, что у Толика в уборной висит календарь с голой тётенькой. Шаги приблизились. Остановились.

Потом Оксана закричала.

Марина за всю жизнь не слышала ничего подобного. Ни до, ни после. Ни в больницах, ни там, куда она потом попадёт. Это был не крик, это был звук, который выходит из человека, когда в нём что-то ломается, как ветка. Высокий, долгий, без слов, без дыхания. Он шёл и шёл, и Марине казалось, что он никогда не кончится, что Оксана так и будет стоять в этом саду и кричать до вечера, до зимы, до конца жизни.

Она обернулась. Оксана стояла на тропинке, прижав обе руки ко рту, и крик шёл сквозь руки. Глаза у неё были огромные и пустые. Потом крик кончился, сразу, как будто выключили. Оксана опустилась на колени в траву, прямо в падалицу, и заплакала. Тоже без звука. Только плечи.

Марина подошла к ней и села рядом. Она не знала, что делать. Она обняла Оксану за плечи, неумело, одной рукой. Дома её никто так не обнимал, и она не знала, как это делается. Оксана мелко дрожала. Её коса растрепалась, и в волосах застрял жёлтый листок.

Так они сидели, пока на крик не пришла соседка через

забор.

* * *

Потом было много людей. Соседи, милиция, скорая, которая приехала через час и уже ни к чему. Мужчина в форме записывал что-то в блокнот, прислонив его к забору. Марину посадили на крыльцо, рядом с упавшим сапогом. Кто-то принёс ей воды в эмалированной кружке, с отбитым краем. Она держала кружку двумя руками и не пила.

Она слышала, как говорят взрослые. Обрывками, через забор, через двор.

«...жена ушла, ещё в июле, с ребёнком...»

«...завод встал, с июня не работал...»

«...пил, да. А кто сейчас не пьёт...»

«...дня три, наверное. Жара же. Ветка не выдержала...»

Ветка не выдержала. Марина посмотрела на яблоню. Ветка висела на своей полоске коры. Под ней уже ничего не лежало: его накрыли простынёй и унесли. В траве осталась примятая полоса, и падалица на ней была раздавлена.

За Мариной приехал отец. Его кто-то вызвал из офиса, или мама позвонила, Марина не знала. Он вошёл в калитку быстро, в светлом пиджаке, и сразу увидел её на крыльце. Подошёл, присел на корточки. Посмотрел ей в лицо. Долго, внимательно, как смотрят на ссадину, проверяя, глубокая ли.

Потом встал и протянул руку. Ладонью вверх.

Марина поставила кружку на крыльцо и положила руку на

его ладонь. Встала. Он повёл её к калитке, медленно, мимо людей в форме, мимо соседок. Марина шла и не оборачивалась. За калиткой стояла «Ауди», и отец открыл перед ней дверь.

Оксану увела мать. Марина видела её последний раз в тот день, на улице, издалека. Мать держала её за плечи и вела, а Оксана шла, глядя под ноги. Коса у неё была расплетена.

* * *

В машине Марина спросила:

— Пап. Почему он так?

Отец помолчал. Он вёл машину медленно, по разбитой улице, объезжая ямы.

— Слабый был, — сказал он.

Это был весь ответ. Отец никогда не говорил больше, чем нужно. Слабый. Марина повторила про себя это слово. Оно ничего не объясняло. Слабый это когда не можешь поднять ведро. Когда плачешь, если упал. Когда боишься темноты. А тут было что-то другое. Тут был человек, который взял верёвку, пошёл в сад, выбрал ветку покрепче. Это не было похоже на слабость. Это было похоже на решение.

Дома мама сказала: «Не думай об этом». И налила ей чаю с мятой. И укрыла пледом на диване, хотя было жарко. Мама умела так: сделать всё, что положено, и ничего больше.

Марина думала.

Она думала об этом весь сентябрь, весь октябрь, всю зиму. Ночью, днём, на уроках. Она смотрела на учительницу

математики и думала: а она могла бы? На продавщицу в булочной: а она? На отца, на маму, на себя в зеркале. Она пыталась представить, что должно случиться с человеком, чтобы он пошёл в сад с верёвкой. Чтобы он решил, что больше не надо. Ни завтра, ни яблок, ни ничего.

У неё не получалось. Она перебирала всё, что знала. Жена ушла? Ну и что, найдёт другую. С работы выгнали? Устроится на другую. Пил? Перестанет. Всё это можно было исправить. Всё это было не навсегда. А то, что он сделал, было навсегда.

Я не понимала. Честно, по-настоящему не понимала. Мне было двенадцать, у меня был папа, который подаёт руку, мама с укладкой, своя комната и море каждое лето. Я думала, что человек, который так делает, это какой-то другой человек. Не такой, как мы. Сломанный с рождения. Я долго так думала. Мне понадобилось двенадцать лет, чтобы понять, что он был такой же, как мы. Просто дошёл.

Оксана в школу больше не пришла. На похороны приехал старший брат, Серёжа, тот, что служил на флоте. Марина видела его один раз, издалека: высокий, в чёрной флотской шинели, хотя было тепло, он стоял у Оксаниного подъезда и курил. Лицо у него было Толиково, только без смеха. Он пробыл в городе месяц, пока продавали квартиру. В ноябре Марина узнала от классной, что Гречко уехали. Совсем, к родне, куда-то на Украину. Серёжа увёз их сам и вернулся на Север. Парта рядом с Мариной так и стояла пустая до конца

года. Никто не хотел садиться на Оксанино место, как будто на нём что-то осталось.

Марина не скучала по Оксане. Она скучала по тому, как та кричала. Это было странно, и она никому бы в этом не призналась. Но иногда, когда в квартире было слишком тихо, ей хотелось снова услышать тот крик. Хотя бы во сне. Чтобы понять, что именно в нём было. Ей казалось, что если она поймёт, то поймёт и про ветку.

Про ветку она поняла в двадцать четыре года, на подоконнике. А крик так и остался непонятым. Иногда он приходит к ней сам, без спроса. От запаха яблок, полежавших в траве.

* * *

Марина снова берёт нож. Кожа спускается спиралью, ровной, одной лентой. Она кладёт её на край тарелки, свернувшуюся, жёлтую, как ракушка.

Загадывай желание, говорила мама.

Она не загадывает. Она режет яблоко на дольки, вынимает сердцевину, кладёт дольки веером на тарелку. Несёт в комнату. Отец сидит в кресле у окна, с газетой, которую не читает. Он поднимает голову.

— Антоновка, — говорит Марина. — Мама с дачи.

Он берёт дольку. Жуёт медленно, с трудом: у него болят зубы, но к стоматологу он не пойдёт, она знает. Смотрит на неё снизу вверх. Потом спрашивает, вдруг, ни с того ни с сего:

— Ты чего бледная?

— Ничего, пап. Яблоками пахнет.

Он кивает, как будто это всё объясняет. Может, и объясняет. Он тоже был тогда в том саду. Он тоже видел ветку.

Глава 5. Раньше всех

В её комнате ничего не изменилось. Мама так и не решилась. Тот же письменный стол у окна, та же полка с книгами, которые Марина не читала, а ставила корешками наружу, по цвету. Тот же шкаф с зеркалом на дверце. Только обои выцвели, и там, где висел плакат, осталось прямоугольное пятно, темнее остальной стены, как окно в другое время.

В ящике стола, в самой глубине, за старыми тетрадями, Марина находит коробочку. Картонная, плоская, с потёртым рисунком: женское лицо с огромными ресницами. Тушь «Ленинградская». Внутри чёрный брусок, засохший до камня, и маленькая щёточка с пластмассовой ручкой. На бруске виден след, ямка, протёртая щёточкой за много месяцев.

Она садится на кровать и держит коробочку на ладони. Двадцать лет. Эта тушь пережила её модельную карьеру, два переезда, больницу, монастырь. Мама не выбросила. Мама никогда ничего не выбрасывала из этой комнаты. Как будто ждала, что сюда вернётся та, тринадцатилетняя.

Вернулась другая.

* * *

Ресницы она накрасила первой в классе. В тринадцать, в седьмом.

У мамы на трюмо стояла французская тушь в золотом тюбике, привезённая отцом из Польши. Её трогать было нель-

зя. Марина купила «Ленинградскую» сама, в галантерее у рынка, на деньги, сэкономленные на школьных обедах. Тушь продавалась в картонной коробочке, и чтобы ею накраситься, надо было плюнуть на брусок и растереть щёткой. Все так делали. Марина научилась плевать аккуратно, одной каплей, а не как другие, пузырями.

Она красилась в ванной, перед уходом в школу, пока мама варила кофе на кухне. Ресницы слипались в стрелки, твёрдые, как у куклы. Она разделяла их иголкой. Иголку она держала в коробочке, воткнутой в картон. Однажды чуть не выколола глаз и не испугалась. Только руку стала держать твёрже.

В школе на неё смотрели. Девочки шептались. Учительница литературы, Галина Фёдоровна, сказала при всём классе: «Сомова, умойся». Марина не умылась. Она посмотрела на Галину Фёдоровну спокойно, снизу вверх, и ничего не сказала. Галина Фёдоровна покраснела первой. Больше она про ресницы не говорила.

Через месяц накрасились ещё три девочки в классе. Через полгода половина. Марина к тому времени уже красила ещё и веки, тенями из маминой коробки, по чуть-чуть, коричневыми, чтобы было незаметно. Учительницы не замечали. Девочки замечали и красили веки через полгода.

Так было со всем.

Мама заметила тушь через неделю. Не в школе, дома: Марина забыла умыться перед ужином. Мама посмотрела на

неё через стол, отложила вилку и ничего не сказала. После ужина позвала в спальню. К трюмо.

Трюмо стояло у окна. Три зеркала, центральное и два боковых на петлях, которые можно было повернуть и увидеть себя со всех сторон сразу. Перед зеркалами на полированной столешнице стояли мамины сокровища. Флаконы духов, «Climat» и «Красная Москва». Коробочки с пудрой. Помады в золотых тубиках. Французская тушь, которую трогать было нельзя.

Мама посадила Марину на пуфик перед трюмо. Встала сзади. Посмотрела на неё в зеркало. Марина видела в трёх зеркалах сразу: себя, тринадцатилетнюю, с ресницами, слипшимися в стрелки, и маму за спиной, тридцатичетырёхлетнюю, красивую, с укладкой.

— «Ленинградская», — сказала мама. Не спросила. — Плевала?

Марина кивнула.

Мама взяла ватный диск. Смочила чем-то из флакона, пахнущим огурцом. Повернула Марину к себе и стала стирать тушь. Медленно, аккуратно, от корней к кончикам. Марина сидела с закрытыми глазами и ждала, что сейчас будет. Крик. Запрет. Мама умела запрещать так, что запрет держался годами.

Мама стёрла тушь. Повернула Марину к зеркалу.

Потом взяла с трюмо французскую тушь. Ту, которую трогать нельзя. Открыла.

— Смотри вверх, — сказала мама. — Не моргай.

И накрасила ей ресницы. Сама. Аккуратно, в два слоя, разделяя каждую ресницу, как Марина разделяла иголкой. Только без иголки. Мамина рука не дрожала. Щёточка шла ровно, от корней вверх, чуть с поворотом.

— Вот так, — сказала мама. — Не комками. Не стрелками. Чтоб никто не понял, что накрашено. Чтоб думали, что своё.

Марина смотрела в три зеркала. Ресницы были длинные, чёрные, ровные. Как будто своё.

Мама села рядом на край кровати. Смотрела на неё в зеркало.

— Слушай меня, — сказала мама. — Я тебе один раз скажу. Больше не буду.

Марина слушала.

— Лицо, — сказала мама, — это твой капитал. Единственный. Папа может потерять фирму. Деньги могут кончиться. Квартиру могут отнять. Всё может быть. А лицо останется. Пока оно есть, ты не пропадёшь. Поняла?

Марина кивнула.

— Его надо беречь, — сказала мама. — Не плевать в тушь. Не курить за гаражами: от этого кожа серая. Не пить: от этого мешки. Не плакать: от этого глаза красные. Не смеяться громко: от этого морщины. Не загорать без крема. Не спать на животе. Не выходить из дома без помады. Никогда. Даже за хлебом.

Она помолчала.

— И не показывать, — сказала она. — Ничего не показывать. Ни что больно, ни что страшно, ни что хочется. Лицо должно быть ровное. Как у меня.

Марина посмотрела на мамино лицо в зеркале. Ровное. Красивое. Ни одной морщинки. Ни одного движения.

Она тогда впервые подумала: а что у мамы под этим лицом? Ей стало страшно от этой мысли, и она её прогнала.

Мама встала. Положила французскую тушь обратно на трюмо. Потом подумала. Взяла её снова. Протянула Марине.

— Возьми, — сказала она. — «Ленинградскую» выброси.

Марина не выбросила. Она спрятала «Ленинградскую» в ящик стола, за тетради. Там она и пролежала двадцать лет.

Мама дала мне тогда всё, что у неё было. Свою тушь, свои правила, своё лицо. Она думала, это защита. Я тоже так думала. Я носила это лицо двадцать лет. Ровное, без морщин, без слёз, без смеха. С помадой даже за хлебом. Оно мне очень пригодилось. На обложке «Города», на билборде у Белорусского. А потом его порезали ветки тополя. Три полосы на щеке. И я впервые за двадцать лет смогла заплакать, не думая, что будут красные глаза. Потому что терять было уже нечего. Капитал кончился. А я не пропала. Мама ошиблась. Я ей никогда не скажу.

Каблуки она надела в четырнадцать. Не туфли с маленьким каблукчиком, какие носили девочки из девятого на праздники, а настоящие, мамины, на шпильке, восемь сантимет-

ров. Мама сначала не разрешала. Потом увидела, как Марина в них ходит, и замолчала. Марина ходила в них так, будто в них родилась. Без раскачивания, без согнутых коленок, без того, чтобы смотреть под ноги. Спина прямая, голова вверх, шаг ровный. Отец посмотрел на неё в коридоре, в маминых туфлях, и сказал: «Ну вот». Больше ничего. Но Марина поняла, что это значит «вот, теперь правильно».

Двор смотрел, как она идёт от подъезда к остановке, цоккая шпильками по разбитому асфальту, и не верил. Четырнадцать лет. Бабки на лавочке говорили: «Сомовская-то, а? Совсем стыд потеряла». Говорили и смотрели вслед, пока не скроется за углом.

Мне нравилось, когда они так смотрят. Я специально шла медленнее. Я знала, что они скажут, ещё до того, как они открывали рот. Мне казалось, это и есть власть: когда ты знаешь, что о тебе скажут, и тебе всё равно. Мне не было всё равно. Мне было приятно. Это разные вещи, но поняла я это гораздо позже.

* * *

Она не играла в куклы. Никогда, даже маленькой. У неё были куклы, много, отец привозил их из-за границы: Барби с длинными ногами, с гардеробом, с розовым домиком. Марина их не трогала. Они стояли на полке в коробках, нераспакованные, как товар в витрине. Девочки во дворе приходили смотреть на них и просили поддержать. Марина разрешала. Сама она на них смотрела так же, как девочки, только

с другой стороны: она смотрела, как на них смотрят.

Она не курила в подворотне. В тринадцать-четырнадцать во дворе курили все: за гаражами, в подвале, в арке между домами. Девочки собирались кучкой, по три-четыре, прикуривали одну на всех и передавали по кругу, кашляя. Её звали. Один раз, другой. Она не пошла. Не потому, что боялась родителей. Ей не нравилось, как это выглядит. Девочки за гаражами в куртках с капюшонами, с красными от холода носами, с одной сигаретой на четверых. Это было некрасиво. Это было бедно.

Она не пила пиво. Пиво пили на тех же гаражах, по вечерам, из больших пластиковых бутылок, тёплое, передавая из рук в руки. Пили парни из старших классов и девочки, которые хотели, чтобы их заметили парни из старших классов. Марину заметили и без пива. Её звали на гаражи каждый вечер. Она проходила мимо.

Она научилась не здороваться.

Это вышло само собой. Сначала она просто не говорила «здравствуйте» бабкам на лавочке. Они ведь всё равно говорили про неё за спиной. Потом не говорила соседям в лифте. Потом учителям в коридоре, тем, кто ей не нравился. Вместо слова она кивала. Чуть-чуть, одним подбородком, как будто опуская голову на сантиметр и тут же поднимая. Многие даже не были уверены, что она кивнула. Тётя Валя с четвертого однажды сказала маме: «Ваша-то не здоровается». Мама ответила: «Здоровается. Вы просто не замечаете». И была

права. Марина кивала. Просто её кивок надо было заметить.

Это получилось от папы. Папа так кивал людям, которых уважал не до конца. Я видела, как он кивает рабочим на объекте, водителю, соседу снизу. Не грубо. Вежливо, но с высоты. Я подсмотрела и сделала своим. Я тогда не понимала, что кивок с высоты требует высоты. Что если она кончится, кивок останется, а смотреть будет неоткуда.

* * *

Девочки во дворе её не любили. Это было понятно и правильно. Марина и сама бы себя не любила, будь она на их месте. У Наташки Кравец мать торговала на рынке китайскими куртками. У Ленки Сазоновой отец пил так, что его однажды нашли зимой в сугробе у пятого подъезда, живого, но без пальто. У Юльки Маслиной было двое младших, и она таскала их за собой везде, как утка утят. Им было не до ресниц и не до каблуков.

Но была одна странность, которую Марина заметила не сразу. Девочки её не любили, а повторяли за ней всё. Ресницы, каблуки, кивок. Особенно кивок. В девяносто седьмом половина двора кивала вместо «здравствуйте». Бабки на лавочке жаловались, что молодёжь совсем распустилась. Марина знала, откуда это пошло. Она знала, и от этого ей было хорошо, как бывает хорошо от тайны, которую никто не может у тебя отнять.

Она делала всё раньше других. Не потому что хотела быть первой. Ей просто было скучно ждать. Она смотрела на сво-

их ровесниц и видела, кем они будут через год, через два: это было написано на них, как цена на бирке. А на ней, ей казалось, не было написано ничего. Её можно было прочитать только на шаг вперёд.

* * *

Виктор Савельев появился в их доме весной девяносто шестого.

Ему было двадцать. Он жил в соседнем доме, в пятом подъезде, с родителями, учился заочно в техникуме и работал у Сомова на фирме: водителем, грузчиком, на подхвате. Отец взял его, потому что знал его отца, Николая Степановича, ещё с института. Виктор был аккуратный, вежливый, всегда в чистой рубашке, и говорил «Владимир Сергеевич» так, как будто это было одно длинное, уважительное слово. Отец его ценил. Отец редко кого-то ценил.

Виктор стал бывать у них дома. Сначала по делу: привёз документы, забрал коробку, помог передвинуть шкаф. Потом его стали оставлять на ужин. Потом звать на праздники. Мама кормила его пирогами. Отец наливал ему рюмку и говорил с ним про машины и про то, куда катится страна. Виктор слушал и кивал. У него было хорошее лицо, открытое, без хитрости. Его родители стали заходить к Сомовым по выходным, и две семьи пили чай на одной кухне.

Марине было четырнадцать.

Когда двор понял, что Савельевский сын ходит к Сомовым не из-за отца, двор сказал: любовь. Двор сказал это с

удовольствием, как говорят о сериале, который наконец-то стал интересным. Двор не сказал, что ему двадцать, а ей четырнадцать. Двор не сказал, что в любой другой квартире, у Кравцов, у Сазоновых, за такого двадцатилетнего отец взял бы ремень, а мать пошла бы в милицию. Двор не сказал этого, потому что Виктор был из хорошей семьи. Потому что Сомовы пускали его в дом. Потому что Владимир Сергеевич жал ему руку. Если в доме, где тюль с золотой ниткой и видеоманитофон, считают, что так можно, значит, так можно.

Взрослые видели то, что хотели видеть. Это двор умел лучше всего.

Они видели Виктора, который несёт за Мариной пакет из магазина. Видели, как он ждёт её у школы на отцовской машине. Видели, как Сомовы и Савельевы вместе идут на Первомайский салют, и Марина идёт чуть впереди, а Виктор на полшага сзади. Они видели это и говорили: вот это пара. Вот это, говорили они, по-взрослому. Не то что наши.

Мне все говорили, что я взрослая. Учителя, соседки, мамы подруги. «Ты у нас совсем взрослая». Я и сама так думала. Я красилась, носила каблуки, не играла в куклы, не курила за гаражами. Я выглядела на восемнадцать, и мне казалось, что раз выгляжу, значит, так и есть. Теперь я думаю, что взрослым просто было удобно, чтобы я была взрослой. Взрослую не надо беречь. Ей можно разрешить всё, что разрешают взрослым, и не думать. Папа подавал мне руку из автобуса, а того, что было у него под носом, не ви-

дел. Или видел и решил, что это тоже как у дам. Я не знаю. Я его никогда не спрашивала. Теперь уже не спрошу.

Осенью девяносто восьмого Виктора забрали в армию. Отсрочка по техникуму кончилась, отец не стал его отмазывать, сказал: мужику полезно. Двор провожал его всем домом: Савельевы накрыли стол во дворе, на сдвинутых столах, под берёзой. Марина стояла рядом с его матерью, прямая, без слёз. Двор сказал: «Ждать будет». И двор следующие два года проверял, ждёт ли. Каждый вечер, из каждого окна. Двор следил за ней строже любой матери.

Она ждала. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Не ходила на дискотеки. Не гуляла с другими. Училась в десятом, потом в одиннадцатом, на четвёрки и пятёрки. Носила каблуки. Кивала. Писала письма, раз в неделю, на тетрадных листах, и сама относила их на почту, и двор знал об этом, потому что почтальонша жила в третьем подъезде.

Двор был доволен. Двору редко доставалась такая хорошая история.

* * *

Марина вертит в пальцах коробочку с тушью. Брусок внутри треснул посередине, по ямке. Она закрывает крышку и кладёт коробочку обратно в ящик, за тетради, туда, где она пролежала двадцать лет.

Потом встаёт и смотрит на себя в зеркало на дверце шкафа. Тридцать три года. Ресницы не покрашены. Она давно не красится. В монастыре было нельзя, а потом стало незачем.

Три белые полосы на левой щеке. Волосы, отросшие после того, как их сбрили в больнице, теперь до плеч, тёмные, с одной седой прядью над ухом, которую она не закрашивает.

Она выпрямляет спину. Поднимает подбородок, на сантиметр. Смотрит на себя с высоты.

Высоты больше нет. А подбородок помнит.

Она опускает голову и выходит из комнаты.

Глава 6. Выпускной

На рынке, у прилавка с зеленью, стоит старуха в синем плаще и выбирает укроп. Перебирает пучки сухими пальцами, нюхает, кладёт обратно. Продавщица смотрит на неё с тоской: старуха стоит тут уже десять минут.

Марина узнаёт её по спине. По тому, как старуха держит голову: чуть набок, как будто прислушивается. Так держала голову Галина Фёдоровна, учительница литературы, когда кто-то у доски читал стихи и врал в ударениях.

Марина подходит. Встаёт рядом. Тоже берёт пучок укропа.

— Галина Фёдоровна, — говорит она.

Старуха поворачивается. Смотрит на неё. Близоруко, щурясь, через толстые очки. На лицо, на шрамы, на седую прядь над ухом. Смотрит долго и не узнаёт. Марина видит, что не узнаёт.

— Сомова, — говорит Марина. — Марина. Девяносто девятый год. Одиннадцатый «А».

Галина Фёдоровна молчит. Потом снимает очки. Протирает их краем плаща. Надевает. Смотрит снова.

— Сомова, — говорит она. Голос у неё прежний, сухой, учительский, только тише. — Умойся.

И смеётся. Тонко, по-старушечьи, прикрыв рот рукой. А потом обнимает Марину. Прямо у прилавка с зеленью, с пуч-

ком укропа в руке.

* * *

Выпускной был двадцать шестого июня девяносто девятого года. Марине было семнадцать.

Платье отец привёз из Милана. Он ездил туда в апреле, за итальянской плиткой: фирма тогда уже возила не польскую, а итальянскую, дорогую, для новых русских, которые строили коттеджи за городом. Отец вернулся с коробкой, перевязанной лентой. Положил её на кровать в Марининой комнате и вышел. Не сказал ни слова.

Марина развязала ленту. Под папиросной бумагой лежало платье.

Оно было простое. Это поразило её больше всего. Цвета слоновой кости, шёлковое, длинное, до щиколоток, на тонких бретельках. Без оборок, без блёсток, без кружев. Ткань текла в руках, как вода, холодная и тяжёлая. Марина приложила его к себе перед зеркалом на дверце шкафа и долго стояла.

В городе в тот год все выпускницы шили платья у одной портнихи, Тамары с Кирова, по одному фасону: пышная юбка, корсет со шнуровкой, рукава-фонарики, розовое, персиковое, голубое. Блёстки. Обязательно блёстки. Это называлось «как у принцессы». Марина видела эти платья в ателье, когда мама водила её на примерку туфель: висели в ряд на плечиках, похожие на торты на витрине кондитерской.

А у неё было платье, как вода.

Она вышла в нём на кухню. Отец сидел за столом с газетой. Поднял глаза. Смотрел долго. Потом сложил газету, аккуратно, по сгибам.

— Ну вот, — сказал он.

Мама сказала: «Простовато». Потом, через минуту: «Хотя... Нет. Хорошо». Потом пошла звонить своему парикмахеру, Ирочке, записывать Марину на утро двадцать шестого, на шесть часов.

* * *

Виктор был в армии. Он прислал из части открытку: поздравляю с окончанием школы, желаю, служу, вернусь. Открытку принесла почтальонша из третьего подъезда и вручила маме с таким лицом, как будто вручала орден. Двор знал про открытку к вечеру.

Марина положила открытку в ящик стола. Она не думала о Викторе в тот день. Она думала о платье.

Я хочу, чтобы это было сказано: мне было семнадцать, и я была ребёнком. Я этого не знала. Никто вокруг не хотел этого знать: ни двор, ни мамины подруги, ни учителя, ни взрослый парень в армии, ни родители, которые его к нам пускали. Все говорили «невеста». Я сидела в итальянском платье и думала, что я взрослая женщина. А я была девочкой, которая хотела, чтобы на неё посмотрели. Только и всего. Это не стыдно. Стыдно было тем, кто смотрел и называл это любовью.

* * *

Утром двадцать шестого Ирочка-парикмахер колдовала над её головой два часа. Волосы подняли наверх, открыв шею, и оставили две пряди у лица, завитые плойкой. Никаких цветов, никаких диадем, хотя Ирочка предлагала. Марина сказала: нет. Ирочка посмотрела на неё в зеркало и сказала: «Ну ты даёшь, Сомова. Как с картинки».

Торжественная часть была в актовом зале школы в три часа дня. Душно, окна открыты, пахнет краской: зал красили к выпуску, и краска не высохла до конца. Родители на стульях, выпускники на сцене, в два ряда. Девочки в розовом, персиковом, голубом. Пышные юбки задевали друг друга, шуршали. Блёстки сверкали в солнце из окон.

Марина стояла в заднем ряду, с краю. В платье цвета слоновой кости. Без блёсток.

Когда её вызвали за аттестатом, она прошла через сцену медленно, ровно, не глядя под ноги. Как через двор. Каблуки стучали по свежей краске. Директор протягивал ей аттестат, и рука у директора дрогнула: он смотрел на неё, а не на аттестат.

В зале стало тихо. Потом зашептались.

Марина взяла аттестат. Кивнула директору. На сантиметр.

В третьем ряду мама сжимала сумочку так, что побелели пальцы. Рядом сидел отец. Он не хлопал. Он смотрел на неё, и Марина видела со сцены, как у него дёргается скула.

* * *

Вечером был бал. В школьной столовой, из которой вы-

несли столы и украсили шарами. Музыку ставил учитель физкультуры, с магнитофона на подоконнике: «Руки вверх», «Отпетые мошенники», Шуфутинский для родителей, «Ласковый май» для ностальгии.

Первый танец был вальс. Его репетировали месяц, на уроках физкультуры, парами, по росту. Марине достался Серёжка Маслов, низкорослый, с торчащим ухом, который на каждом третьем такте наступал ей на ногу. Она терпела месяц. Она думала, что вытерпит и вечер.

Но когда физрук включил вальс и все начали выстраиваться парами, к ней через зал пошёл отец.

Он шёл в костюме, тёмно-сером, который надевал раз в год. Шёл через всю столовую, мимо родителей, мимо выпускников, мимо Серёжки Маслова, который уже стоял рядом с Мариной и неуверенно тянул руку. Отец остановился перед ними. Посмотрел на Серёжку. Серёжка покраснел и отступил.

Отец протянул руку. Ладонью вверх.

Марина положила на неё свою.

Они танцевали вальс. Отец танцевал плохо: он не учился, он просто вёл, как водил машину, уверенно и чуть резко на поворотах. Марина танцевала хорошо. Она вела его, не показывая, что ведёт. Платье текло вокруг её ног, как вода. Они кружились посреди школьной столовой, среди пар в розовом и голубом, и пары расступались, а родители у стен смотрели и молчали.

Мама плакала. Марина видела это через отцовское плечо, на повороте: мама стоит у стены, прижав платок к губам.

Когда вальс кончился, отец не отпустил её руку сразу. Подержал. Потом наклонился и сказал ей на ухо, тихо, чтобы не слышали:

— Всё, Марин. Выросла.

И отпустил.

Она не поняла тогда, что он сказал. Она подумала: похвала. Потом, много лет спустя, лёжа на больничной койке и глядя на жёлтое пятно на потолке, она вспомнила этот вальс и поняла. Это было не похвала. Это было прощание.

* * *

В два часа ночи выпускники пошли встречать рассвет. Так было положено: на мост через реку, на старый, железнодорожный, по которому давно не ходили поезда. Шли толпой, через спящий город, шумно, с бутылками шампанского, с магнитофоном на плече у кого-то. Девочки сняли туфли и несли их в руках. Пышные юбки волочились по асфальту и чернели по подолу.

Марина не сняла туфли. Шла на каблуках. Платье она придерживала рукой, чтобы не испачкать.

На мосту было холодно. Ветер с реки. Девочки ёжились в своих платьях без рукавов. Мальчики пили шампанское из горла и бросали бутылки в воду. Бутылки летели вниз, долго, и падали с плеском, которого почти не было слышно.

Ленка Сазонова плакала. Сидела на рельсах, обхватив ко-

лени, в персиковом платье, которое ей сшила Тамара с Ки-рова на деньги, собранные всем подъездом: мать в больнице, отец пил. Отец обещал прийти на выпускной. Не пришёл. Ленка ждала его весь вечер у дверей столовой. Потом пере-стала ждать.

Все ходили мимо Ленки. Смеялись, пили, обнимались. Никто не садился рядом.

Марина смотрела на неё. Ленка дрожала. Плечи голые, ру-ки покрылись мурашками.

У Марины на плечах была шаль. Кашемировая, мамина, тоже итальянская, цвета слоновой кости, под платье. Мама накинула её в последний момент, сказала: «Ночью замёрз-нешь».

Марина сняла шаль. Подошла к Ленке. Постояла. Потом накинула шаль Ленке на плечи. Молча.

Ленка подняла голову. Посмотрела на неё. Мокрыми, красными глазами, с потёкшей тушью.

— Ты чего? — сказала Ленка.

Марина не ответила. Кивнула. Не на сантиметр. Нормаль-но. И отошла.

Ленка сидела на рельсах в маминой кашемировой шали до самого рассвета. Потом пришла и отдала её, сложенную, Марине. И сказала: «Спасибо». А больше они не говорили никогда. Ни в тот день, ни потом.

Мама спросила дома: «А шаль где?» Марина показала. Мама понюхала шаль, поморщилась: пахло табаком и рекой.

Отдала в химчистку. Ничего не спросила.

Я не знаю, почему я это сделала. Я не была доброй. Я никогда не была доброй, я это точно знаю, мне об этом потом многие говорили. Но тогда, на мосту, я посмотрела на Ленку и увидела Оксану. В саду, на коленях, в падалище. Как она дрожала. И у меня руки сами сняли шаль. Это единственный раз за всю юность, когда руки сделали что-то раньше, чем подбородок.

* * *

Рассвет пришёл в четыре. Серый, потом розовый, потом белый. Над рекой поднялся туман, и в тумане проступили берега, ивы, крыши частного сектора на том берегу, купол церкви.

Все закричали «ура». Кто-то включил магнитофон громче. Пары обнимались, целовались, фотографировались «мыльницами» на фоне рассвета.

Марина стояла у перил, одна. Смотрела на реку.

Ей вдруг стало пусто. Не грустно. Пусто. Как бывает пусто в квартире, из которой вынесли мебель перед переездом. Все вокруг были парами, компаниями, кучками. Обнимались, кричали, плакали. А она стояла одна, в итальянском платье, на каблуках, с аттестатом с одной четвёркой, и ей не с кем было обняться.

Она всегда была впереди. Раньше всех. Ресницы, каблуки, кивок, платье без блёсток. Она шла впереди, и все шли за ней, повторяя. А сейчас она вдруг поняла: впереди никого

нет. Если идёшь первой, впереди пусто. Некому повторять за тобой, когда ты сама не знаешь, куда идти.

Она посмотрела назад, на одноклассников. Они были счастливы. Глупо, пьяно, в чёрных от асфальта подолах, но счастливы. Вместе.

Она посмотрела вперёд, на реку. Туман. Ивы. Ничего.

Она постояла так до пяти. Потом повернулась и пошла домой. Одна, через город, на каблуках.

Отец ждал её на лавочке у подъезда. В костюме, с расстёгнутым воротом. Он не спал. Он сидел на этой лавочке, на которой никогда не сидел, и курил. Увидел её. Встал.

Открыл перед ней тяжёлую дверь подъезда. Придержал.

Она прошла. Он вошёл следом. Дверь закрылась на пружине.

Они поднимались по лестнице молча. На площадке второго этажа отец остановился.

— Как? — спросил он.

— Нормально, пап.

Он кивнул. Посмотрел на её туфли. На подол платья, чистый, без единого пятна.

— Не сняла, — сказал он.

— Не сняла.

Он помолчал. Потом сказал, не ей, а куда-то в лестничный пролёт:

— Мать бы сняла. Я бы снял. А ты не сняла.

Она не поняла, хорошо это или плохо. Он не объяснил.

Галина Фёдоровна выбрала, наконец, укроп. Расплатилась мелочью, долго отсчитывая монеты на ладони. Убрала укроп в сетку. Повернулась к Марине.

— Я тебя помню, — говорит она. — На выпускном. В белом. Все в розовом, ты одна в белом. Я тогда подумала: эта далеко пойдёт.

— Пошла, — говорит Марина.

Галина Фёдоровна смотрит на неё сквозь толстые очки. На шрамы. На руки с короткими ногтями.

— Да, — говорит она. — Вижу.

Она молчит. Потом говорит, своим сухим учительским голосом, каким разбирала у доски стихи:

— Знаешь, Сомова, что я тогда ещё подумала? Я подумала: ей бы хоть раз туфли снять. Хоть раз. Пройтись босиком. Она бы тогда поняла.

— Что поняла?

Галина Фёдоровна пожимает плечами.

— Что земля тёплая, — говорит она. — Что не обязательно над ней на каблуках.

Она поправляет сетку с укропом и уходит. Медленно, чуть набок держа голову, как будто прислушивается.

Марина стоит у прилавка. Продавщица смотрит на неё и ждёт.

— Брать будете? — спрашивает продавщица.

Марина смотрит на пучок укропа у себя в руке. Она за-

была, что держит его.

— Буду, — говорит она.

Глава 7. Как взрослые

У отца день рождения, шестьдесят пять. Мама достаёт из серванта хрусталь. Бокалы на тонких ножках, чешские, купленные в девяносто шестом у спекулянтки за цену половины зарплаты. Их доставали только на праздники. Мама протирает каждый полотенцем, подносит к окну, смотрит на свет. Один со щербинкой на краю. Его она ставит себе.

— Вино будешь? — спрашивает мама. — Красное. Ты же любила.

— Не буду, мам.

Мама кивает. Не спрашивает почему. За эти недели она научилась не спрашивать, и Марина ей за это благодарна. Мама ставит бутылку на стол, грузинское, полусладкое, другого в «Магните» нет. Отец такое пить не станет, у него давление. Мама тоже не станет, у неё печень. Бутылка будет стоять в центре стола, нераспечатанная, как свечка.

Гостей не будет. Отец не хочет. Раньше на его день рождения собиралось по двадцать человек: компаньоны, соседи, Савельевы. Теперь компаньонов нет, фирмы нет с две тысячи восьмого, Савельевы не заходят. За столом будут трое. Они и будут, как взрослые.

* * *

Виктор вернулся из армии в ноябре двухтысячного.

Марине было восемнадцать с половиной. Она окончила

школу с одной четвёркой в аттестате, по физике, поступила на экономический в местный институт, потому что так решил отец, и ходила туда через день, потому что так решила сама. За два года она выросла ещё на три сантиметра, похудела, отрезала волосы до плеч и снова отрастила. Она уже не красилась «Ленинградской». У неё была своя французская тушь, своя косметичка, своя сумка из натуральной кожи, которую отец привёз из Италии.

Виктор вошёл в их квартиру в форме, с дембельским альбомом под мышкой и с букетом. Мама ахнула. Отец встал из-за стола и пожал ему руку. Долго, двумя руками. Виктор посмотрел на Марину, стоявшую в дверях кухни. Она не бросилась ему на шею. Она стояла, держась одной рукой за косяк, и смотрела на него спокойно, как смотрят на то, что всё равно будет твоим.

Потом медленно подошла и подставила щёку.

Двор потом рассказывал, что она даже не улыбнулась. Двор это откуда-то знал, хотя двора в квартире не было. Двор всегда всё знал.

* * *

Потом начался год, который Марина потом много раз пыталась вспомнить целиком, и не могла. Он вспоминался кусками, как фотографии из альбома, рассыпанные по полу. Каждая отдельно. Все красивые.

Новый год, двухтысяча первый. Сомовы и Савельевы за одним столом, у Сомовых, потому что у них больше места.

Пятнадцать человек. Отец во главе, Николай Степанович справа от него. Виктор рядом с Мариной. На столе хрусталь, салаты в салатницах с золотой каёмкой, утка с яблоками, которую мама запекала шесть часов. В двенадцать отец встаёт с бокалом шампанского и говорит тост: за детей. Смотрит на Марину и Виктора. Все смотрят на Марину и Виктора. Николай Степанович говорит: «Ну что, Володь, скоро и породнимся». И все смеются, хорошо, громко, по-семейному.

Марина пьёт красное вино. Она не любит шампанское: от него щиплет в носу, и оно для школьниц. Она пьёт красное, из чешского бокала, маленькими глотками, держа бокал за ножку, как учила мама. Красное вино пьют дамы. Пиво пьют на гаражах. Водку пьют мужики. Шампанское пьют все, а значит, никто.

Она не пьянеет. Она никогда не пьянеет. Ей хватает одного бокала на весь вечер.

* * *

Восьмое марта. Виктор приносит ей не мимозу, как всем, а розы. Тёмно-красные, на длинных стеблях, семь штук. Он вёз их из областного центра, в машине, завернув в газету, чтобы не замёрзли. Марина ставит их в вазу и фотографирует «мыльницей». Потом оказывается, что фотография засвечена. Розы на ней получились белые.

Апрель. Кисловодск. Отец взял путёвки в санаторий на четверых: себе с мамой и им. Номера отдельные, конечно. В санатории ходят в халатах на процедуры, пьют нарзан из

стаканчиков с носиком, гуляют по терренкуру. Женщины в санатории смотрят на Марину и Виктора со скамеек и вздыхают. Одна, пожилая, в шляпке, говорит маме в столовой: «Какая у вас дочка. И зять какой. Как в кино». Мама не поправляет, что не зять. Ей приятно.

Марина идёт по терренкуру впереди, в светлом плаще, подняв голову. Виктор на полшага сзади, с её сумкой. Он всегда несёт её сумку. Пакеты, сумки, зонт. Её руки всегда свободны.

Июль. Геленджик. Море. Отец снимает дом у моря на две семьи, с виноградом над верандой и хозяйкой-армянкой, которая каждое утро ставит на стол инжир. Виктор учит Марину плавать брассом, правильно, с головой под воду. Она не хочет под воду: испортится лицо. Она плавает, держа голову над водой, медленно, как лебедь. На пляже на неё смотрят. Она лежит на полотенце в тёмных очках и делает вид, что не видит.

Вечером на набережной Виктор покупает ей браслет из серебра с бирюзой. Продащица, увидев Марину, говорит Виктору: «Какая у вас девушка». Виктор отвечает: «Знаю». Марина надевает браслет и не говорит спасибо. Она кивает. Виктор улыбается. Он знает, что её кивок дороже чужого спасибо.

В последнюю ночь в Геленджике Виктор позвал её купаться.

Было за полночь. Родители спали в доме под виноградом.

Хозяйка-армянка спала. Собака хозяйкина, старая, лохматая, спала на крыльце и только приоткрыла один глаз, когда они прошли мимо. Они спустились по тропинке к морю, через кусты ежевики, держась за руки, потому что было темно и тропинку не было видно.

Море было чёрное. Совсем, без единого огонька. Только у горизонта, далеко, светились точки: корабли или рыбаки. Луны не было. Звёзды были, много, крупные, южные, и отражались в воде, и вода от этого казалась не водой, а продолжением неба. Как будто можно было зайти в неё и пойти дальше вверх.

Виктор разделся первый. Зашёл в воду по пояс, обернулся.

— Иди, — сказал он. — Тёплая.

Марина зашла по колено. Вода была тёплая, как чай, и светилась. Она не знала, что вода может светиться. От каждого движения ноги в воде вспыхивали маленькие зелёные искры, сотни, тысячи, и гасли. Как будто кто-то рассыпал в море бенгальский огонь.

— Это что? — спросила она шёпотом.

— Планктон, — сказал Виктор. — Светится. В армии паван из Новороссийска рассказывал. Я не верил.

Он провёл рукой по воде. Рука вспыхнула зелёным, вся, до плеча. Он засмеялся, как ребёнок.

Марина зашла по пояс. Потом по грудь. Вода вокруг неё светилась, при каждом вдохе, при каждом движении. Она

подняла руку и смотрела, как с пальцев стекают зелёные капли.

— Поплыли до буйка, — сказал Виктор. — Вон он. Метров сто.

Она не видела буйка. Она видела только черноту и звёзды.

— Я не поплыву, — сказала она.

— Чего?

— Я там дна не достану.

Виктор засмеялся.

— Марин. Ты плаваешь лучше меня.

— Я у берега плаваю.

Он посмотрел на неё. Потом пожал плечами.

— Ладно, — сказал он. — Я сплываю. Подожди тут.

И поплыл. Брассом, сильно, ровно. Его плечи вспыхивали зелёным при каждом гребке, и за ним оставался светящийся след, как за кораблём. Метр, пять, десять. Потом след стал тоньше. Потом его стало не видно. Только плеск, далеко.

Потом и плеска не стало.

Марина стояла по грудь в воде и смотрела в темноту.

— Вить, — сказала она.

Тишина. Шорох волн о гальку за спиной.

— Вить!

Ничего.

Она стояла и не могла пошевелиться. Вода вокруг неё светилась от того, что она дрожала. Она смотрела в черноту, где кончалось море и начиналось небо, и не могла отличить, где

что. Ей вдруг показалось, что его нет. Что он уплыл туда, в звёзды, и не вернётся. Что она стоит одна посреди светящейся воды и никого нет в двух шагах. Ни отца, ни Виктора. Никого.

Ей стало так страшно, как не было даже в саду у Толика.
— Витя! — закричала она. Голос сорвался. — Витя!

И тогда из темноты, совсем близко, метрах в пяти, вспыхнуло зелёным. Голова, плечи. Виктор плыл к ней, быстро, рывками.

— Ты чего? — сказал он, подплыв. Встал на дно. Отплёвывался. — Ты чего кричишь? Я до буйка и обратно. Две минуты.

Она смотрела на него. Мокрого, светящегося, живого. И молчала.

— Марин? Ты плачешь, что ли?

Она не плакала. Она стояла и дрожала. Он протянул руку и коснулся её плеча. Её плечо вспыхнуло зелёным под его пальцами.

— Испугалась? — сказал он тихо. — За меня?

Она не ответила. Она вышла из воды. На берег, на гальку, к полотенцу. Завернулась. Села.

Виктор вышел следом. Сел рядом. Долго молчал.

Потом сказал:

— Марин. Я хотел тебя спросить. Давно хотел.

Он полез в карман шорт, брошенных на гальке. Долго шарил. Достал что-то маленькое. Разжал кулак.

На ладони лежало кольцо. Тонкое, золотое, с маленьким камушком, красным, гранатом. Марина узнала его. Это было кольцо Тамары Петровны. Она носила его на мизинце, сколько Марина её помнила. Мать отдала.

— Выходи за меня, — сказал Виктор. Просто, без слов из книжек. Как говорят «пойдём домой».

Марина смотрела на кольцо. Оно лежало на его ладони, мокрой, в песке. Камушек поблёскивал от звёзд.

Ей было девятнадцать. Двор ждал этого пять лет. Родители ждали. Савельевы ждали. Все ждали.

Она смотрела на кольцо и думала: если я скажу да, то это навсегда. Этот двор, эта лавочка, этот пятый подъезд. Тамара Петровна со своими салатами. Николай Степанович с тостами «породнимся». Виктор, который несёт пакеты. Навсегда. Как у всех. Как у мамы. Как у тёти Вали.

А она хотела не как у всех. Она всегда хотела не как у всех. Она хотела впереди.

— Потом, — сказала она.

Виктор не шевельнулся. Сидел с открытой ладонью, с кольцом.

— Когда потом?

— Потом, Вить. Не сейчас. Я учусь. Мне девятнадцать.

Он посидел ещё. Потом медленно сжал кулак. Кольцо исчезло. Он положил кулак на колено.

— Ладно, — сказал он. — Потом.

Он не обиделся. Или обиделся, но не показал. Он умел

не показывать. Он встал, оделся, подал ей руку. Помог подняться с гальки. Они пошли вверх по тропинке, через ежевику, в темноте.

У дома, под виноградом, он остановился.

— Я подожду, — сказал он. — Ты не думай. Я умею ждать. Я два года ждал. Подожду ещё.

Она кивнула. На сантиметр.

Я сказала ему «потом». Через пять лет Андрей скажет мне «потом», когда я спрошу про безымянный палец. Тем же голосом, только ровнее. Я тогда не вспомнила про Геленджик. Я вспомнила потом, в Заречье, на мешках с мукой, и смеялась одна до слёз. Всё возвращается. Каждое слово. Только не тебе в руки, а тебе в лицо. Я тогда, в воде, испугалась, что его нет. По-настоящему испугалась. А через пять минут, на берегу, сказала «потом». Я не умела тогда сложить эти две вещи вместе. Что страшно, когда человека нет. И что он есть, вот он, мокрый, с кольцом на ладони. Я думала, это разные истории. Это была одна.

Кольцо Тамары Петровны Марина увидела ещё раз, через четырнадцать лет. На руке у Насти, Викторовой дочки, когда та пришла за хлебом. На мизинце, великоватое, перевязанное ниткой, чтобы не спадало. Гранат поблёскивал. Настя сказала: «Бабушка подарила. Сказала, это для невесты было. Но невеста не захотела». И засмеялась.

* * *

Двор смотрел.

Двор смотрел так, как никогда ни на кого не смотрел. Ни на Кравцов, когда их сына посадили. Ни на Маслиных, когда у них сгорела квартира. Ни на Сазонова, когда его нашли в сугробе. Те истории двор обсуждал неделю и забывал. А на Марину и Виктора двор смотрел каждый день, годами, как смотрят сериал, который идёт без конца.

Двор видел, как Виктор приезжает за ней к институту на отцовской «Ауди». Как открывает перед ней дверь. Как несёт пакеты из супермаркета, новенького, первого в районе, а она идёт впереди, налегке, с сумочкой на сгибе локтя. Как она, проходя мимо лавочки, кивает так, что непонятно, кивнула ли. Двор говорил: «Ишь, цаца». Двор говорил: «Повезло парню». Двор говорил: «Ох, намается он с ней». Двор говорил всё это одновременно, и всё это было правдой.

В мае двор узнал, что Марина иногда остаётся у Савельевых на ночь. А Виктор у Сомовых. Двор узнал это просто: утром из пятого подъезда вышла Марина, в том же платье, что и вечером. Тётя Валя увидела из окна и к обеду рассказала всем. Двор ахнул и замолчал на неделю. Потом решил, что ничего страшного. Взрослые же люди. Родители разрешают. Значит, дело к свадьбе.

А потом поползло дальше, шёпотом, по кухням.

Говорили, что Марина пьёт таблетки. Противозачаточные. Это знала дочка аптекарши из сорок первого дома, которая работала у матери на кассе. Во дворе, где девочки в восемнадцать уже возили коляски, а матери узнавали о бе-

ременности дочерей по животу, эта новость прозвучала как новость о полёте в космос. Таблетки пьют не девчонки. Таблетки пьют женщины, которые решают сами. Состоявшиеся. Таблетки были знаком того, что Марина Сомова не залетит по глупости, как все. Что у неё всё будет по плану.

Говорили ещё, что она пользуется тампонами. Это откуда-то узнала Наташка Кравец, и это было ещё круче таблеток. В двухтысячном году тампоны во дворе видели только по телевизору, в рекламе, где девушка в белых брюках прыгает на батуте. Тампоны были верхом. Верхом женской сознательности, свободы, заграницы. Наташка рассказывала об этом у гаражей шёпотом, и девочки слушали, открыв рот, как когда-то слушали про Барби в коробках.

Я знала, что они говорят. Я всегда знала. Мне рассказывала мама, морщась, как будто ей подали несвежее. Мама говорила: «Какое их дело». А мне было приятно. Мне было приятно даже это. Что двор обсуждает мои таблетки, как биржевые новости. Я была для них витриной. Я была журналом, который они не могли себе купить. Я думала, что это и есть жизнь: идти впереди, налегке, и чтобы за тобой несли пакеты и смотрели вслед.

* * *

Виктор её любил. Это Марина знала точно, без сомнений, как знают, что за ночью будет утро.

Он любил её неловко, всем собой. Он не умел говорить красиво: в армии разучился, а до армии не научился. Он го-

ворил «ты у меня» и не договаривал. Он помнил всё, что она сказала за год. Какие она любит конфеты, какую музыку, на каком боку спит. Он просыпался раньше неё и смотрел, как она спит. Однажды она проснулась и поймала его взгляд. Он смутился, как мальчишка, и отвернулся.

Он терпел. Её молчание, когда она обижалась. Её кивок, когда он ждал спасибо. Её «нет», когда он хотел в кино, а она не хотела. Её опоздания, на полчаса, на час, когда он сидел в машине у подъезда и курил, а двор смотрел из окон и считал минуты. Он терпел всё. Двор говорил: подкаблучник. Двор говорил это с уважением.

Марина его не то чтобы любила. Она к нему привыкла, как привыкают к правильно сшитому пальто. Он сидел на ней. Он был впору. Он был её. Она не думала, что будет с ним через десять лет. Она вообще не думала про десять лет. Ей было девятнадцать, и всё, что у неё было, ей казалось навсегда, как казалось навсегда тюлю с золотой ниткой и «Ауди» под окном.

Отец смотрел на них и был доволен. Иногда Марине казалось, что он доволен больше неё. Виктор был его выбор. Хороший парень, свой, понятный. Отец с ним говорил о деле. Отец ему доверял ключи от склада. Отец как-то сказал маме, Марина слышала через стену: «Витька её сбережёт. С ним не пропадёт».

Тогда Марина не понимала, что значит «сбережёт». Ей казалось, что её не от чего беречь.

* * *

За столом трое. Мама положила отцу салата и котлету, ему можно только паровую. Отец ест медленно, держа вилку не так, как раньше: раньше он держал её легко, как дирижёр палочку, теперь кулаком. Марина видит, как дрожит его рука. Мама тоже видит и отворачивается к окну.

— Ну, — говорит отец. — Давайте. За что там пьют.

Мама наливает себе и Марине компота в хрустальные бокалы. Отцу воды. Бутылка вина стоит нераспечатанная.

— За тебя, пап.

— За меня, — говорит отец. — Чего за меня-то. За тебя давай. Что вернулась.

Они чокаются. Хрусталь звенит так же, как тридцать лет назад. Ему всё равно, что в нём: вино или компот. Звенит одинаково.

Отец выпивает воду и ставит бокал. Смотрит на Марину через стол. Долго, внимательно. Как тогда, на крыльце Толика, присев на корточки.

— А Витька-то, — говорит он вдруг. — Савельев. Видела его?

— Нет.

— Он тут, в соседнем. С матерью живёт. Николай-то помер, в одиннадцатом. — Отец молчит. — Хороший был парень. Зря ты его тогда.

Мама кладёт руку отцу на запястье. Он стряхивает её, не сердито, просто.

— Да я что. Я так.

Марина ничего не говорит. Она смотрит на бутылку красного в центре стола. Если бы она сейчас выпила, она бы знала, что сказать. Раньше она всегда знала, что сказать. Бокал красного, и слова находились сами, правильные, холодные, с высоты.

Она берёт бутылку и уносит её на кухню. Ставит в шкаф, за крупу. Возвращается.

Отец смотрит на неё, на пустое место в центре стола, и вдруг улыбается, впервые за вечер, одной половиной рта.

— Ну и правильно, — говорит он. — Гадость грузинская.

Глава 8. Рынок

Ночью ей не спится. Это обычное дело: после больницы сон у неё стал как дешёвая ткань, рвётся от любого шороха. В монастыре она вставала в четыре на полунощницу и не мучилась. Здесь вставать незачем, и она лежит, глядя в потолок, где фары с улицы рисуют косые полосы, похожие на шрамы на её щеке.

В половине первого она одевается и выходит.

Двор ночью другой. Тише, честнее. Фонарь у третьего подъезда горит через раз, мигает, как будто думает. Окна почти все тёмные. Марина садится на лавочку. Не с краю, как днём, а посередине, там, где не хватает куска доски. Неудобно. Край доски врезается в бедро. Она не двигается.

Четырнадцать лет назад здесь сидел Виктор.

* * *

Николаю Степановичу Савельеву в сентябре две тысячи первого исполнилось пятьдесят. Праздновали у Савельевых, в соседнем доме, в пятом подъезде. Сомовы пришли все трое, с подарком: отец достал где-то японский телевизор с плоским экраном, первый в районе. Николай Степанович прослезился. Он вообще в тот вечер много плакал: от телевизора, от тостов, от водки, от того, что сын вернулся из армии и скоро женится на дочери лучшего друга.

— Вот, — говорил он, обнимая отца за плечи. — Вот,

Володя. Вот она, жизнь. Ради этого всё.

Отец кивал и подливал. Он редко напивался, но в тот вечер позволил себе. Мама сидела прямо, держа бокал с вином за ножку, и улыбалась одними губами. Она устала. Она всегда уставала от Савельевых: от громких голосов, от салата с майонезом, от ковра на стене в гостиной.

Марина пила своё красное. Одно, весь вечер. Виктор рядом пил водку с отцами. Больше, чем обычно. Он был счастлив и немного растерян, как всегда в присутствии отца и будущего тестя сразу. Он смотрел на Марину каждые пять минут, как будто проверял, на месте ли.

В одиннадцать Марина встала.

— Я пойду, — сказала она. — Голова.

Голова не болела. Ей просто надоело. Надоели тосты, надоела водка, надоело, как Николай Степанович говорит «попроднимся» на каждом третьем тосте. Она хотела домой, в свою комнату, в тишину, к тюлю с золотой ниткой.

Виктор вскочил проводить. Это было сто метров: от пятого подъезда соседнего дома до третьего подъезда их дома, через двор, мимо гаражей. Он проводил. Шёл рядом, держа её под локоть, чуть пошатываясь. У подъезда открыл перед ней тяжёлую дверь. Она вошла и, не оборачиваясь, сказала: «Спокойной ночи». Дверь закрылась на пружине.

Виктор постоял. Потом сел на лавочку покурить.

* * *

Марина поднялась на третий этаж. Родителей ещё не бы-

ло: они остались у Савельевых. В квартире было тихо, темно и пахло мамиными духами. Она не стала включать свет. Подошла к окну в своей комнате и чуть отодвинула тюль.

Она всегда так делала. Смотрела, как он уходит. Это было не из нежности. Ей просто нравилось смотреть сверху, как он стоит под её окном, ждёт, пока она помашет, и уходит, когда не помашет. Он всегда ждал. Она никогда не махала.

Виктор сидел на лавочке и курил. Огонёк сигареты загорался и гас.

Из-за угла дома вышла женщина. Марина узнала её не сразу: тёмно, фонарь мигает. Потом узнала. Ленка Головина. Из шестого подъезда их дома. Одноклассница Виктора, они сидели за одной партой до девятого класса. Ленка давно жила в областном центре, вышла замуж там, развелась, говорили, работала в каком-то кафе. Приезжала к родителям раз в год. Сейчас, видимо, тоже приехала. Шла от остановки с сумкой через плечо, чуть покачиваясь, на каблуках, которые носила неумело.

Она увидела Виктора на лавочке и остановилась. Марина видела, как Ленка всплеснула руками, как закричала что-то, через стекло было не слышно что. Виктор поднял голову. Встал. Засмеялся.

Они сели рядом. Ленка достала из сумки бутылку, пиво или джин-тоник в банке, Марина не разглядела. Отпила, передала ему. Он отпил. Они заговорили, громко, перебивая друг друга, смеясь. Ленка махала руками, показывала что-

то: рост, ширину, может, рассказывала про учительницу, которую оба помнили. Виктор хохотал, откинув голову. Марина никогда не видела, чтобы он так хохотал. При ней он улыбался. Смеялся тихо. А тут он смеялся так, будто ему снова пятнадцать и впереди лето.

Потом Ленка положила голову ему на плечо. А он положил руку ей на плечи и приобнял. Легко, по-дружески, как обнимают сестру. Они сидели так, может, минуту. Может, меньше. Ленка что-то говорила, глядя на гаражи, а он кивал. Потом она выпрямилась, встала, чмокнула его в щёку и пошла к своему подъезду, покачиваясь на неумелых каблуках.

Виктор посидел ещё. Докурил. Посмотрел на её окно, на тёмный тюль, за которым она стояла. Подождал. Потом встал и пошёл к себе.

Марина стояла у окна и не двигалась.

Она не чувствовала ревности. Она это хорошо помнит: ревности не было. Ленка Головина не была ей соперницей. Ленка Головина не была никем. Двадцать два года, развод, кафе, джин-тоник в банке, неумелые каблуки. Марина могла бы пожалеть её, если бы ей было интересно. Ей не было.

Она чувствовала другое. Как будто кто-то сфотографировал её без разрешения, в неудачный момент, с открытым ртом, и повесил фотографию на доску объявлений у подъезда.

Потому что двор смотрел.

Марина видела, как на четвёртом этаже шевельнулась

штора у тёти Вали. Как на втором зажётся и погас свет у Масловых. Как в доме напротив, в окне на кухне, мелькнул силуэт. Двор не спал. Двор никогда не спал, когда происходило что-то интересное. Двор ждал этого пять лет. Пять лет он смотрел, как Марина Сомова идёт впереди, подняв голову, а Виктор несёт пакеты. И пять лет ждал, когда что-нибудь случится. Когда пакеты выпадут из рук. Когда голова опустится.

И вот. Савельевский сын на лавочке, под окном у невесты, обнимает Ленку Головину.

Это было не важно, что он обнимал её по-дружески. Двору не нужны подробности. Двору нужен сюжет. А сюжет был готов: королеву обманули.

Я стояла у окна и знала, что будет завтра. Утром тётя Валя выйдет с ведром, встретит Кравчиху у мусорки, и к обеду будет знать весь дом. К вечеру соседние. Я знала, как они будут говорить: с сочувствием, с придыханием, со сладостью. «Бедная Мариночка». Я не могла быть бедной Мариночкой. Это было хуже всего, что могло со мной случиться. Хуже измены, хуже Ленки, хуже чего угодно. Я понимала только одно: если они будут меня жалеть, я перестану быть собой.

Она задёрнула тюль. Легла. Не плакала. Слышала, как в первом часу вернулись родители: отец что-то напевал на лестнице, мама шикала. Слышала, как они легли. Лежала до утра, глядя в потолок, где фары рисовали косые полосы.

К утру она всё решила.

Виктор пришёл в одиннадцать. С цветами, как всегда по воскресеньям. Он ничего не знал. Он был помятый после вчерашнего, но весёлый, и пах одеколоном и зубной пастой.

Марина открыла ему сама. Не пустила в квартиру. Вышла на площадку, прикрыла за собой дверь. Она была уже одета, причёсана, покрашена. Губы светлые, ресницы чёрные. Она смотрела на него спокойно, как учительница на ученика, который не выучил урок.

— Витя, — сказала она. — Не надо больше приходить.

Он не понял. Стоял с цветами и улыбался, ждал, что это шутка.

— Я видела, — сказала она. — Вчера. Лавочка. Головина.

Улыбка начала сползать, медленно, по частям, как сползает со стены отклеившийся плакат.

— Марин... Да ты что. Это же Ленка. Мы с ней с первого класса. Она пьяная была, я пьяный был. Я её даже не... Это ж ничего. Марин. Ну ты чего.

— Я не устраиваю сцен, — сказала Марина. — Я тебе просто говорю.

Она не повысила голос. Не заплакала. Не бросила в него цветами, хотя он стоял с ними, протягивая, как щит. Леди не устраивают сцен. Леди говорят один раз, спокойно, и закрывают дверь.

Она вошла в квартиру и закрыла дверь. Щёлкнул замок. За дверью было тихо, долго. Потом Виктор позвонил. По-

том постучал. Потом начал говорить, громко, через дверь: «Марин, открой. Марин, давай поговорим. Марин, ну это же глупо». Потом голос у него сломался. Потом он сел на ступеньки, Марина слышала, как он сел. И сидел там до вечера.

Двор знал всё к обеду.

* * *

Потом были три недели, которые двор потом вспоминал годами.

Виктор караулил её у подъезда. Каждое утро, в семь, до того как она выходила в институт. Стоял у лавочки, той самой, курил одну за другой. Когда она выходила, шёл за ней. Не рядом, а позади, на несколько шагов, как раньше, только теперь без пакетов. Говорил. Просил. Она шла впереди, поднимая голову, и не оборачивалась. На остановке он стоял рядом, а она смотрела на дорогу, как будто его не было. Она садилась в автобус, и он оставался на остановке, и смотрел, как автобус уходит. Двор смотрел на него из окон и качал головой.

Он ходил за ней, как побитая собака. Так и говорили во дворе: как побитая собака. Он похудел, перестал бриться. Николай Степанович отправил его к врачу, врач выписал успокоительное. Виктор успокоительное не пил. Он пил другое, по вечерам, на лавочке, один.

Однажды, в начале октября, он ждал её у института.

Шёл дождь. Холодный, осенний, косой, с ветром, какой бывает только в октябре, когда лето уже кончилось, а зима

ещё не решилась. Марина вышла из главного корпуса после третьей пары, раскрыла зонт и увидела его.

Он стоял у ограды, напротив входа. Без зонта. В куртке, промокшей насквозь, тёмной от воды. Волосы прилипли ко лбу. Вода текла по лицу, и непонятно было, дождь это или нет.

Он стоял и смотрел на неё.

Вокруг шли студенты. Под зонтами, под капюшонами, бегом, прикрывая головы сумками. Обходили его. Оглядывались. Девочки с её курса, три подружки под одним зонтом, остановились у ступенек, посмотрели на Виктора, потом на Марину, и зашептались.

Марина остановилась на ступеньках. Под зонтом. Зонт был итальянский, отцовский подарок, чёрный, с деревянной ручкой.

Она смотрела на Виктора. Он смотрел на неё. Между ними было метров двадцать. Ступеньки, асфальт, лужи, дождь.

Она могла подойти. Двадцать метров. Подойти, встать рядом, накрыть его зонтом. Ничего не говорить. Просто накрыть зонтом. Чтобы он перестал мокнуть.

Она спустилась со ступенек. Пошла. Не к нему. К остановке, которая была справа, вдоль ограды. Мимо него. В двух метрах.

Она шла под зонтом, ровно, не глядя. Каблуки стучали по мокрому асфальту. Он стоял у ограды. Она прошла мимо. Совсем близко. Она слышала, как он дышит. Тяжело, с хри-

пом, как дышат простуженные.

Он не сказал ни слова. Не пошёл за ней. В этот раз не пошёл.

На остановке подошёл автобус. «Икарус», жёлтый, с гармошкой. Марина села у окна. Сложила зонт. Посмотрела в окно, сквозь мокрое стекло, в разводах.

Виктор стоял у ограды. Там же. Не двигался. Смотрел на автобус.

Автобус тронулся. Виктор остался. Маленький, тёмный, мокрый, у чугунной ограды института, под дождём.

Марина смотрела на него, пока автобус не завернул за угол.

Он простоял там, как ей потом рассказали девочки с курса, ещё час. Потом ушёл. Через неделю он слёг с воспалением лёгких. Тамара Петровна говорила во дворе всем, кто слушал: «Это она его. Под дождём держала. Королева».

Марина не держала. Она прошла мимо.

Это хуже, чем держать. Я тогда этого не знала. Я думала, раз я не просила его стоять под дождём, значит, я не виновата. Он сам. Я тогда ещё не знала, что «сам» бывает разное. Что можно стоять под дождём сам, а можно стоять, потому что кто-то идёт мимо под зонтом и не смотрит. Это тоже сам. Но не совсем.

Однажды он пришёл к ней ночью. Пьяный. Стучал в дверь кулаком и кричал так, что проснулся весь подъезд. Вышел отец, в халате. Взял его за плечи и долго что-то говорил ему

на площадке, тихо. Потом отвёл вниз. Марина слышала, как Виктор плакал на лестнице. Не так, как плачут мужчины, а как плачут дети, навзрыд, со всхлипами.

Потом пришли Савельевы.

Николай Степанович и Тамара Петровна, в воскресенье, в выходной одежде, как на похороны. Сели на кухне у Сомовых, на тех же стульях, где пили чай пять лет. Мама поставила им чай. Отец сидел молча, крутил в руках зажигалку.

— Люда, Володя, — сказала Тамара Петровна. — Ну вы же взрослые люди. Ну объясните ей. Ну что такого-то. Ну приобнял. Ну Ленку. Они ж с ней с горшков. Ну выпили. Это ж ерунда, пустяк. Он же её любит. Он же без неё не может. Вы же видите, что с ним.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.